

The book cover features a complex design. The top half is a dark, marbled pattern with swirling, organic shapes in shades of brown, black, and grey. Below this is a light-colored rectangular label with a decorative border. The author's name 'БОРИС ГОЛЛЕР' is printed in black, uppercase letters at the top of the label. A dotted line separates the author's name from the title. The title 'Возвращение в Михайловское' is written in a large, black, serif font. The bottom half of the cover is a photograph of a landscape, showing a body of water in the foreground with reeds, a green field in the middle ground, and a dark treeline under a cloudy sky. The entire cover is overlaid with a semi-transparent, light-colored marbled pattern that matches the top section.

БОРИС ГОЛЛЕР

.....

Возвращение
в Михайловское

Борис Голлер

Возвращение в Михайловское

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Голлер Б. А.

Возвращение в Михайловское / Б. А. Голлер — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906823-98-4

«Возвращение в Михайловское» – роман, две первые книги которого печатались в свое время в журнале «Дружба народов», выходили отдельными изданиями и вызвали серьезный читательский интерес. Третья и Четвертая написаны только что и еще не публиковались. Две первые – посвящены целиком особому периоду в жизни Пушкина: двухлетнему пребыванию в Михайловском, после высылки с юга в имение родителей. Он только после поймет, что эта вынужденная «остановка» на станции Михайловское – среди лесов и озер, и снегов, и, временами, крошечного одиночества – которая сперва казалась столь катастрофической, была нужна ему. Ибо здесь пришла пора «проститься единожды навсегда с праздной рассеянностью» (как он скажет потом о Грибоедове) и настал черед сосредоточения в самом себе – которое одно только и может спасти искусство в человеке. Третья и Четвертая книги резко меняют вектор повествования: они касаются последующих событий в жизни Пушкина и страны – восстание декабристов и расправа с его участниками, в том числе с друзьями Пушкина, возвращение героя в столицы и трудная попытка войти в контакт с новой властью, при этом сохраняя себя как художника в условиях николаевской эпохи. Роман не стремится насильно вдвинуть образ поэта в некую схему заранее выстроенной концепции его жизни и творчества. Это лишь попытка проследить внутренний путь творца – времени создания «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина». С другой стороны, и это следует подчеркнуть, «Возвращение в Михайловское» – исторический роман, не роман-биография, а именно роман, попытка выразить Художника и его Время.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906823-98-4

© Голлер Б. А., 2017

© Алтейя, 2017

Содержание

| | |
|---|-----|
| Книга первая. Коварность | 7 |
| Книга вторая. Естественный враг покоя[19] | 116 |
| Часть первая. Апрель | 116 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 122 |

Борис Голлер

Возвращение в Михайловское

© Б. А. Голлер, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Имени Анна

Родиться – значит обрести заблуждение индивидуальности, умереть – значит избавиться от заблуждения индивидуальности. И лишь где-то в середине жизни, в одной точке можно почувствовать одновременно и собственное заблуждение индивидуальности и истину всеобщей жизни. Лишь один раз, на вершине горы – видны оба ската ее.
Л. Н. Толстой. Дневник

Книга первая. Коварность

*С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты...*

А. Пушкин

I

Мне, вот уж сколько лет, мнится одна сцена. Возвращение блудного сына в имение родителей – девятнадцатый век, первая четверть... Он что-то натворил там этот сын – на юге, где он был, и умудрился не потрафить властям. И теперь возвращается в неудаче под родительский кров.

Его ждут – и, как положено родителям, ведут счет его грехам – и винят друг друга в том, что случилось. Сцена слишком обыденная, чтоб казаться значительной. Как всегда, когда баре ссорятся, нечесаные дворовые разбрелись кто куда. И только одна старуха-нянька бродит по дому в некоем оцепенении и пытается понять – о чем говорят. Не разбирая слов, конечно – больше, французские... Но все это почему-то словно касается ее... Двое других детей – дочь, старшая – барышня на выданье, и сын – недоросль неполных двадцати – затворились по комнатам, чтоб не слышать. Дочь раздумывает – не отправиться ли ей навестить приятельниц в соседнем имении. А младший сын нарочно остался дома – поглядеть, чем все кончится, и, сообразно возрасту, временами открывает дверь из своей комнаты и сардонически усмеется...

Барский дом запущенный, не слишком богатый. Может, будь он богаче – люди б не так ссорились. Не с таким запалом. К дому ведет дорога, обсаженная елями... По ней и должен прибыть сын. Виновник... Русский северо-запад, южная оконечность сего – неброского и бесконечно красивого края.

Огромный запущенный сад – ставший почти лесом. И только неметенные аллеи напоминают о былой правильности парка. Но парком будет время заняться еще!

А задним крыльцом дом выходит к реке. – Холм обрывается за домом. Вниз ведут хилые деревянные ступеньки... Под ногами шуршанье легкой желтой осыпи. Август, первая десятидневка. На гряде – Яблочный Спас. В садах налились яблоки... Не антоновка, конечно – мягкие сорта. Антоновка созреет позднее... По утрам водянистый туман над травами стоит дольше обычного и заметно дышит осенней сыростью – впрочем, только по утрам.

Но прислушаемся к разговору в доме...

– Это все – плоды вашего воспитания! – возвышенно начинает отец...

– Не говорите глупостей! – отвечает мать. – Он и дома-то почти не воспитывался. Все в заведении... И кто знает, что там внушали ему? Кстати... Это – дело отца воспитывать сыновей!

– Мы еще не знаем, что он такого натворил!

– Вот именно! Вот именно! Может, есть смысл, хотя бы для начала, расспросить его? Боюсь, вся эта его история больше по женской части!..

– Но Алексей Никитич положительно уверял меня...

Мать – в светлом чепце с кремовыми оборками и в летнем шляфоре с глубоким вырезом, вдоль которого скользят такие же оборки. Отчего и из-под шеи, густо перетянутой уже попе-

речными стяжками, открывается треугольник чего-то такого – темно-розового, почти молодого... Она в прошлом несомненно была красива (или недавно еще?).

– Он дурно воспитан, – настаивает отец. – Он просто дурно воспитан!

– Ах, оставьте! – и впервые, кажется, подняла на него глаза.

Глаза у нее странные. – С раскосинкой отчего всегда кажется, что глядит она на вас и куда-то помимо... – Вам всюду видится политика!

– Я сказал! У меня был продолжительный разговор с Алексеем Никитичем! На полной откровенности!..

Поняв, что разговор затягивается – она взяла в креслах вязанье и склонилась над ним. Теперь можно слушать в одно ухо и делать вид, что считаешь ряды.

– Вы много занимались светом, но мало – домом и детьми!.. – Отец – в халате, который постоянно распахивается. И тогда обнаруживаются почтенный животик и толстые ляжки в фиолетовых жилках. Она вновь подняла глаза и взглянула на него почти мечтательно. Пытаясь вспомнить – когда она разлюбила его. Давно!..

– Побойтесь бога! Я родила вам шестерых!

– Да, но троих не сберегли!

– Попрекать мать смертью ее детей...

– Я только хотел сказать, что в доме никогда не было дома!..

– Попрекать мать смертью детей – это не просто безнравственно. Это – дурной тон! Если кто уж невоспитан...

– Хочу вам напомнить, я – шестисотлетний дворянин!

– Да, как я позабыла? В самом деле. Шестисот лет. Это, право, не прибавило вам воспитанности!

Кто сказал, что каждая несчастная семья несчастлива по-своему?.. На самом деле, несчастье паразитически однообразно! И даже говорятся одни и те же слова. Ну, разве только различаясь – по месту и времени...

– Вы трусили, признайтесь! Вы просто трусили!..

– Я ответствен не только за себя одного! – сказал отец и от важности чуть раздул щеки.

– Вас как напугали при покойном императоре Павле – царствие ему небесное – так вы и по сей день – не отмякли!..

– Я ж вам сказал, что Алексей Никитич...

– Кто такой – Алексей Никитич?.. Что за манера – вечно щеголять имена ми-отчествами, известными только вам?.. Понятия не имею – кто такой Алексей Никитич!

– Как? Предводитель дворянства. Пешуров. Уездный предводитель, я вас знакомил...

– Ах, уездный предводитель! Я запомнила. В этих ваших представлениях, простите – всегда есть что-то лакейское!..

Он схватил ее за руку и сильно потрянул.

– Что вы сказали?..

– Отпустите! Вы ж видите – я вяжу!..

– Повторите, что вы сказали?..

– Что я вяжу! Еще повторить?..

– Вы забылись, сударыня! Я – статский советник!..

– Отпустите, г-н статский советник! Не то я кликну людей!..

– Бедный мальчик! – сказал отец несчастным голосом. – Все вышло потому, что он никогда не имел настоящего дома!..

– Вы о ком, собственно, из сыновей?..

– О старшем, естественно! Который попал теперь в пренеприятные ситуации!..

– Ах, это он уже – бедный мальчик?..

– Да-с, сударыня! Да-с!.. Когда он воротился домой из учения – он бежал своего дома! Он вечно торчал где-то... Он не мог даже привести гостей домой! В доме был всегда такой беспорядок! Вы – мать! Когда у Ольги начались месяца – тряпки валялись по всему дому!..

– Вы – не мужчина! Разве мужчине пристало замечать такие вещи?.. Кто виной – что вы никогда не умели спрашивать со слуг!..

– Это я должен был спрашивать?..

– Кстати, вы, по-моему, забыли нынче сказать, чтоб вынесли ваш горшок. А, нет?.. Что-то запах!..

Она повела ноздрями – презрительно и властно. У нее всегда были такие ноздри. Тонкие, нездешние... Тонкий нос с горбинкой... Греция, Рим?.. И очи, запеленутые каким-то туманом – в коем мужчины, все без исключения, готовы видеть неудачу женской судьбы, которой так и тянет прийти на помощь!

– Между прочим, младший, ваш любимец – пойдет тем же путем! Вы не замечаете? Он уже, по-моему, наострил лыжи!..

– Оставьте в покое младшего хотя бы!..

– Но я не могу позволить, чтоб мой старший сын...

– Успокойтесь! Он – не ваш сын!

– Как-так, не мой?! Что вы говорите?..

– Успокойтесь! Этот грех я уже отмолила в своей церкви!..

...лжет, конечно. И сын... так похож на него... никогда никто не сомневался! А впрочем... Разве не бывает? Дед повесил француза-учителя на воротах имения. Из ревности. Все бывает. Чужая душа! Чужая душа – потемки! Нерусская, лживая... С этим туманом на очах... Чужое небо. Чужая женщина. Врет! А может? Все может быть! Бежать! В леса. Удалиться и плакать, плакать. Одиночество! Пойти в баню. И там... дворовую девку. Сперва все... А потом плакать. Рыдать от одиночества у нее в коленях. И чтоб эта девка плакала с тобой. Горшок! Нашла чем попрекнуть! – Он думал о сыне. И что тот опять ввязался в какие-то... не приведи бог! Девку! В бане! на полке-с! Так-с!.. Он незаметно под халатом дотронулся до причинного места. И вышел с гордостью...

К вечеру приехал, наконец, сын, из-за которого весь сыр-бор. Дорожная коляска, промчавшись по еловой аллее, лихо развернулась вокруг клумбы к дому... Встречать высыпали все. Дворовые дружно выносили вещи. Их было немного. Сын был в дорожном сером сюртуке и сам чуть посеревший с дороги. Мать от метила про себя материнским взглядом круги под глазами и несвежую у ворота верхнюю сорочку. Сын поцеловал ей руку, она мелко перекрестила его – раз-другой, поцеловала в лоб и заплакала. Он вновь поцеловал ей руку и стоял рас терянный. Он боялся с детства – когда она плакала. Хотя смутно подозревал всегда, что плачет она не о ком-нибудь – о себе самой. Почему?.. С отцом они трижды расцеловались по-русски – но сухо. Отец сперва протянул руку важным движением – сразу возникла сухость. Сестра Ольга повисла на брате, поджав коленки и махая в воздухе маленькими узкими ступнями. Шепча в ухо, что ужа с но-ужасно рада. Она в самом деле любила его. И так продолжала висеть на нем пока *rara* не встряли, как всегда, что барышне сие – не комильфо... Младший брат был доволен и всем видом строил таинственность. Как все девятнадцатилетние, которые уверены, что им внятно то, что невнятно другим. Они обнялись – и он успел буркнуть загадочное: – Готовься!.. – То есть, думал, что загадочное. Все и так понятно. Старший улыбнулся. Он отдавал себе отчет, когда ехал сюда – он знал свой дом. Нянька поцеловала в плечо – два или три раза и плакала, не переставая. Про нее он точно знал, что плачет об нем. Он поцеловал ее в лоб, а потом в соленую щеку – пахло сивухой, – должно, приняла перед встречей, за ней водилось. Дворовые наблюдали всю сцену откровенно и с удовольствием. – Не наблюдали, а зарились, ей-богу! – Можно понять. Какое-то развлечение в их жизни. Дворовые девки бес-

стыже разглядывали молодого барина, лузгая семечки. С особым вниманием – те, что были девчонками, когда он был в последний раз здесь – а теперь вот вымахали во взрослых девах...

Все заговорили – «Ужин, ужин!» – но он отнекнулся: сказал, что устал, что завтра, все завтра – а пока неплохо б в баню. Мать подумала и поддержала его. Он, видно по всему, в самом деле устал – а тут пойдут разговоры... Она памятовала свою беседу с мужем, от которой еще могут быть последствия – взглянула на мужа невинными глазами и тоже твердо сказала: – Завтра!.. А няня подтвердила, что баня уже истоплена – и в самый раз. Она там, при бане жила... Не всегда, конечно, иногда в доме. Вообще, она была здесь хозяйкой. Ее слушались – и даже старший барин, а он был ндравный!

Это «завтра» словно разогнало встречавших – ну, устал человек, хочет привести себя в порядок. К слову «баня» на Руси так же принято относиться с уважением.

Приезжий прошел к себе – бросил беглый взгляд на отведенную ему комнату: кровать, узкий стол – колченогий, впритирку к окну, узкое окошко. И даже не взглянул в окно. Теперь это надолго! Завтра, послезавтра... Обидно! Он поморщился, перерядился в домашний халат, и в таком виде отправился в «байну» – как говорила няня. Она была здесь же – а где ей быть, и, когда она плеснула первый ковш на камни – и они зашипели, и отпрыгнули парком, и море сразу стало уходить куда-то... *Я помню море пред грозюю...* И море отошло, больше не было моря. Море было далеко. Он вернулся домой.

Он мылся, а няня поливала его водой. Сперва из ковша, потом из круглой большой шайки. И он подставлялся весь этой воде – один бок, другой, перед, зад... Няни он не стеснялся – она его вырастила. Да и вообще... не принято было. Вот мать – другое дело, с матерью он бы так не мог! Няня тоже, обливая – разглядывала его стати – без стеснения, да и не без удовольствия. (Много ли она видела в жизни?..) Фигура, несмотря на малый рост – была крепкой, скроенной, что надо. Няне нравилось: бедра у него узкие, что у хорошего коня – не то, что у отца. У того, прости мя господи, бабьи ляжки! (Отца она тоже мыла в бане обычно.)

Потом, когда он сидел уже в простыне, нежился, растертый, отходил от пара и пил чай, какой она же и принесла – она спросила обыденно:

– Хочешь девку нынече какую-нибудь?.. Я ее намою тебе – как вылижу!.. Видел, как они на тебя глазели? Точно диво дивное!..

– Нет, – сказал он, – не сегодня... – Я и вправду устал!..

– Ну, как хочешь, как хочешь! А то – только кликни!..

Час спустя он лежал на кровати в чем мать родила – брюхом кверху – и думал... Все разбрелись кто куда – и дом словно вымер. Заглянул брат – но он при поднялся лениво и сказал: – Нет, завтра! Все завтра!..

– Понял!.. – бросил тот и прикрыл дверь. Он полежал еще... потом достал из дорожного баула трубку – и попытался раскурить. Не вышло. Море было далеко, и трубка не раскуривалась. Он еще полежал, попытался взять какую-то книжку – не лезло в голову. Все не лезло в голову.

Незаметно стемнело. Он пошарил, взял свечку, зажег... Сунул в темный канделябр. Взглянул на свою руку – вся в пыли от прикосновения. «Как всегда, – подумал брезгливо, – как всегда!..» Присел на корточки и стал доставать из-под кровати урыльник. Вытащил до середины – да так и оставил. Успеется! И снова лег. Еще чуть погодя слез опять, накинул халат и немного поблуждал по пустым комнатам. Из спальни родителей доносились голоса – он не стал прислушиваться. Ничего хорошего он не ждал услышать... Завтра, все завтра!.. Вышел в темную прихожую – у другого крыльца, того, что выходило к реке, – и отворил окно. Реки не было видно. В траве шуршали птицы и все еще стрекотали кузнечики. Но было уже сыро... Что будет здесь осенью?.. Он попытался переклониться через подоконник – аж весь вытянулся, – но не увидел реки. Моря тоже не было... Клочок луны гляделся в открытое окно. Он взобрался на подоконник и стал мочиться – вниз, в травы, но задирая струю все выше в небо – странные

желания у нас, людей! Струя взвивалась дугой. Ого! Еще молод! – твою мать – еще молод!.. В свете луны струя отблескивала. *Ну, все, как будто. Верно, целая лужа. Только б сестра не видела! Нет, спит, наверное!..*

Он ошибался. Сестра не спала и думала о нем. Ну, не только о нем, конечно... И вообще – кто думает – лишь о чем-то одном? Радовалась, как никто, что он приехал. И потому, что любила, но и... что греха таить? Дом опять начнет полниться молодыми людьми!.. Брат всегда притягивает их к себе... Впрочем, здесь, откуда?.. Двадцать семь – и не замужем – это уже серьезно!

Она выпростала из-под пикейного одеяльца босые ноги – потом на одной ноге высоко задрала рубашку, отороченную снизу кружевом. И стала разглядывать ее – вытянутую... Подняла рубашку выше. Нет, ничего!.. И ступня узкая, и нога длинная, и икра круглая... Почему, почему?.. Ответа не было на этот – как на другие вопросы. Она повернулась на бок, пытаясь задремать...

Брат, меж тем, вернувшись к себе, присел к столу при свечке... Взял карандаш и принялся что-то чиркать на клочке бумаги. Сперва попробовал нарисовать себя в окне – и как он мочится в траву с подоконника. Струя на рисунке изогнулась совсем. Парабола, гипербола?.. Он улынулся. (Математика не была его конек.) *Гибербол – это имя... древний грек. Ламповщик – был подвергнут остракизму. Во времена... В Греции это называлось черепкованием. Все решали черепки. Против, за... Я – тоже ламповщик и подвергнут остракизму. (Кто-то бросил черепки.) Меня отринули от моря... Вновь взглянул на свой рисунок. Струя получилась – он сам не получался. Он начал зачеркивать свою неудачу – аккуратными такими, почти параллельными штришками, и под ними стал рисовать собственный портрет в профиль. Он научился на юге – сам не знал, как научился. Но иногда выходило в одну линию. Сносно?.. На этот раз лучше – он откинулся и взглянул еще.*

И расписался под портретом: *А. Пушкин.*

II

Наутро за завтраком ели скучно и вяло. Окна были настезь – там накрапывал дождь. *Сплошь угольный карандаш, никаких красок!..* Александр по неловкости разбил яйцо всмятку, поданное в старинной рюмке-подставочке (остатки сервиза старого арапа) – оно вылилось на тарелку. Или скорлупа была тонкой?.. И теперь тщательно вымакивал ржаным хлебом на вилке ярко-желтую жижу. Картинка в окне сулила тоску и отъединение. *Неужто – так теперь навсегда? Или надолго?..* Он ждал удара, ждал – что на него нападут (первый, конечно – отец) и хотел, чтоб скорей. Хотелось выйти из себя – выкричаться, выплеснуться. Когда не можешь ничего объяснить, и даже себе...

Но никто не нападал. Мать была в мигрени – с широкой повязкой на лбу, схваченной сзади узлом – по-пиратски, с хвостиками – сверху капор, разумеется. Из-под сего двуслойного строения глядели на мир черные, близорукие, близко посаженные глаза – чуть с косинкой, и верно, от близорукости подернутые каким-то туманом, что прежде так действовало на мужчин. За этот странный взгляд – и на вас, и, вместе, куда-то помимо, – возможно, и прозвали ее «прекрасной креолкой»... Пусть это – только в прошлом, у женщины даже в возрасте – прошлое перепутано с настоящим. Она не зря считала, что беды ее детей могут идти исключительно от амурных дел и неудач и уверенно подозревала в том старшего сына. И если б трое ее умерших в детстве сыновей дожили до взрослого состояния... Она одна за сто лом знала, что муж сегодня не пойдет на скандал – ему хватило вчерашнего... Берег в Люстдорфе странный. Сухой песок подходит почти к самой кромке – будто волны совсем не омывают его... Нагая степь. И, он, Александр идет по песку. (Вымакивает яйцо.) – *Что вы делаете здесь? – Я еду экипажа из Одессы!..* Отец все еще был в бешенстве, что старший сын, подававший такие надежды, вя-

зался во второй раз – в какую-то распрю с властями. Но пребывал в рассуждении, что вчера в сцене с женой хватил через край – и теперь надо бы продемонстрировать смиренность. Жену он любил. Он никогда не забывал, что она слыла в свое время одной из прекраснейших женщин Москвы. Может, и Петербурга?.. Он был тщеславен в этом смысле – впрочем, как во всех остальных. Он уныло ковырял вилкой явно не свежее зажаренного для него (как полагалось бы по чину – хозяину дома) – но лишь подогретого цыпленка и время от времени энергически хватался за зубочистку. Цыпленок был стар, и сам он нынче чувствовал себя старым. Сестрица Оленька сидела, чуть сжавшись, – она боялась скандалов, и ей казалось, ссора вот-вот вспыхнет. Брат Лев тоже ждал и предвкушал... Счастливым возрастом, когда все внове – и всякая новая страница завлекательна – даже если на ней – только череп и кости.

– А почему мы молчим? – спросила Оленька как бы наивно. Ее деланная наивность иногда спасала вечно разбредавшуюся, разбегавшуюся семью...

– Молчитесь, – сказала мать, прячась в свою мигрень. Отец помрачнел.

– А правда, там, в Одессе – кругом сады? – не унималась Оленька.

– Начиталась Туманского? – улыбнулся старший брат.

Моя жизнь порой смахивала на эпиграмму... на самом деле она была, скорей, элегией...

– Почему – Туманского? Не помню... Читали что-то с барышнями в Тригорском.

– Туманский! – подтвердил брат. – Есть люди, которые способны видеть жизнь лишь сквозь собственные миражи! Туманности... Да там кругом – нагая степь!

Вот, как ему легко даются эти «mot»... Туманский, туманности... Отец расстроился. Опытный светский лев, он знал цену словам, понимал, что в этом месте тоже должен бросить что-нибудь – как бы вскользь... какой-то каламбур, но ничего не приходило в голову.

– Почему она **в те минуты** звала его только по имени? Александр?.. А раньше всегда – только Пушкин?.. Но что особенного? Мое имя – Александр! Сейчас он шел по песку, спускаясь к воде. И песок похрустывал под его башмаками... Шуршали и чирикали воробьи под крышей. – У них там явно было гнездо – и явно более дружное, чем здесь. Неужто нынче так и не расподится?

– ... бросить быстрый каламбур, и тем совлечь внимание с приезжего сына, который, похоже, пытается обойтись без всяких угрызений совести, – перенести это вниманье на него самого, отца, показав его роль и значение в этом доме и в мире... Да, если по-честному, у него своих каламбуров никогда и не было. Он всегда их подбирал. Где-нибудь – переносил или разносил... тем и славился: он умел вставить к месту – иногда со ссылкой на источник, иногда без... беда только – где их эти «мо» тут в деревенской глуши возьмешь?.. И, как всегда, когда он не находил, что сказать (а надо бы) – он сидел, как в воду опущенный.

– Это свойство пиитическое! – сказал он, робея. И подумал про себя: не то, не то!..

– Наверно... – согласился Александр. Уж если спорить – то не по поводу Туманского! – Но не удержался: – Я спрашиваю его – где ты видел сады?.. А он лишь улыбается с загадкой!

– Это ваша арзамасская манера – осмеивать все и вся!..

Александр отвел разговор: – Но там красиво, все равно! Море, солнце...

Здесь с тоски можно разбить и собственные яйца. Растекутся по тарелке... Садов нет. Но сады Эпикура?..

Но все-таки возразил: – Вы ж когда-то, *rara*, дружили с арзамасцами?..

Все было. В самом деле. Он когда-то и стихи писал. Французские. Легко и быстро... В обществе они пользовались успехом. Он когда-то добился и благоклонности Надин – своими французскими стихами. И это старший сын взял от него. Несомненно. Это быстрое перо. Легкость, легкость!.. Неблагодарный!..

Отец попытался вспомнить хоть строчку из своих стихов, но не смог – и схватился за зубочистку. Цыпленок стар. Все старело. И Надин с этой повязкой на лбу вовсе не выглядит прежней Надин...

– Я боюсь, ты скоро соскучишься здесь! Без общества, без итальянской оперы!.. – сказал он уныло.

– Зато не будет – ни саранчи, ни милордов Уронцовых!

Лев прыснул первый. Ему все смешно. Естественно! Этот всегда так и смотрит на старшего.

– Побойся бога, Александр! Он – славен как военачальник и как преобразователь нашего южного края!..

– Но это не мешает ему быть отпетым мерзавцем!.. *(Дело ж не в том, что было в случайной строчке случайного письма! А в том, почему вообще – стали распечатывать мои письма!)*

– Я сказал – побойся бога! Я б не хотел слышать это в своем доме!..

– Бога я боюсь!.. Но Бог не подслушивает! Он – не наша свинская почта! *(И не корчит из себя милорда и приверженца английских свобод!)*

– Ты должен был подумать о нас! Что я? Я – человек старый. Но имя семьи, но Лев, но Ольга... Лев только вступает на поприще. А Ольге м-м... еще предстоит выйти замуж!.. (– Да-с! И кто захочет жениться на сестре санкюлота? – это было под спудом.)

– Я выйду замуж, *papa!* можете быть спокойны!

– Почему ты так уверена? – спросил отец почти без голоса.

– А у меня красивые ноги!

Мир рушился, впрочем, он уже рухнул. Лев так и зашелся смехом.

– Что ты, Ольга? Ты сошла с ума! Кто так говорит? В присутствии молодых людей?!..

– Но они же – мои братья! – сказала Ольга.

– *Papa!* вы не должны так волноваться! Мы – другое поколение!.. – это, разумеется, Лев, насмешливо. Они – другое поколение, вы слышали?..

– У нее действительно – красивые ноги, и что особенного? А ежели вы желаете продолжать спорить – то у меня мигрень! – матушка поднялась и величественно вышла из комнаты. Сергей Львович проиграл. Он всегда проигрывал. Мигрень был главный козырь – какой он не мог победить во всю свою жизнь. Жизнь кончалась. Этот цыпленок так и родился старым. Зубочистка?.. А все – Александр! Он там что-то натворил, что-то ужасное... Иначе б его не выслали сюда, под надзор. Могут выслать и далее. Если правда то, что рассказывал Пешуров... В прошедшие царствования выслали целыми семьями. Меншиков в Березове... Это наш государь – либерал! Впрочем, Катенина выслали в костромское имение, и не так давно. Что мы всем семейством будем делать в Березове?.. Или в Болдине? (Где ты, кстати сказать, никогда не был! Говорят, там – нищета, голодные крестьяне. Управитель, которого послали туда – сбежал, на это гляючи... Ты – светский человек. Что такое общество? Это общение с себе подобными. И как бы переходение – от одного собеседника к другому... В этом перехождении и вся жизнь. Не так?)

...А Александр шел по песку – в Люстдорфе, под Одессой. Неподалеку от тех мест, где скучал Овидий. «*Tristia*», «*Любовные элегии*»... «*За что страдальцем кончил он – Свой век блестящий и мятежный – В Молдавии, в глуши степей...*» Теперь и ему предстояло кончить век в глуши. Только в глуши лесов... За ту самую – «науку страсти нежной». Которую преподал он – или преподали ему? Он не мог сказать с точностью. *Она все время звала его по имени, хотя раньше... И ничего такого – мое имя Александр. Моя жизнь смахивала порой на эпиграмму, но потом стала элегией... элегией в духе Коншина... Он станет писать элегии. В элегиях он будет жаловаться...*» Как Овидий. «*Tristia*». «*Жалобы*»... Ему скажут, возможно: «*Никто не жалуется, только вы и Овидий!*» *Ну уж то нынче так и не распогодится?*

Он был неправ. Он не заметил, как на небе постепенно развидняется. И скучная графика в окне обретает живописность. *Малые голландцы, как в Эрмитаже...*

– А тебе, Лев, я бы советовал все же – не следовать дурным примерам старших!.. – сказал отец и поднялся от стола. Так завершилась первая семейная трапеза блудного сына по возвращении...

– Ну, сударь, ждите! Все будет не так просто! – промолвил Лев в интиме и весело подмигнул брату: невыносимая манера младших делать вид, что они знают жизнь! И тотчас, без перехода: – Стихи новые привез?..

(Друзья писали Александру, еще в Кишинев, что этот недоросль шпарит наизусть чуть не все братнины стихи – даже те, коих никто не знает – а, может, и сам брат позабыл – и тем почти славен в обществе.)

После завтрака Лев быстро куда-то исчез – возможно, отправился на сеновал к девкам. Впрочем... в его возрасте...

А Ольга предложила: – Пойдем со мной в Тригорское?.. Там все будут рады тебя видеть!

Александр был не против. Во-первых, выглянуло солнце... Потом еще – он быстро сообразил, что барышни, которых он знал некогда девчонками – с тех пор, верно, выросли... и не совсем безынтересно взглянуть – какими они стали. Женщины продолжали занимать его – и даже несмотря на то, что открылось ему *там*, как он считал... и что было рождением нового *его* – какого он еще толком не знал, и к которому не без опаски приглядывался. Все равно. Существовал мир женщин вокруг – они были цветением этого мира, его садами и виноградниками. Его морем и берегом – и волнами нежности, которые накатывали вдруг неведомо откуда – и бесполезно вопрошать, зачем?.. *Чего вы хотите от меня? вы – оборотни, солнца, луны?.. Что ставите предо мной – все новые загадки, – беспрестанно открывая мне – то небо, то землю, то землю, то небо?.. То вознося на вершины – недостижимые, то бросая навзничь, как жалкий прах?*

Он сперва оделся в дорожное, потом перерядился во фрак – и отобрал палку по руке – из тех, что привез с юга, потяжеле... Он любил тяжелые палки. Ему доставляло удовольствие именно тяжелые их – вращать на ходу – идучи, беззаботно, переворачивать – то набалдашником книзу, то концом, как положено – и ощущать, что жизнь легка, легче легкого – и остается лишь прожить ее... не растеряв, не растратив чего-то по дороге.

Ольга уже вышла во двор и бродила вокруг клумбы перед крыльцом в ожидании брата. Она была очень мила – под красноватым зонтиком от солнца. Картинка с выставки. Изящная фигурка пред клумбой, полной цветов, солнце и цветной зонт. А Александр покуда отпаривал полотенце у Арины, которой, как всегда, ничего не хотелось выпускать из дому. Она была скуповата. Да и то сказать – жила она в доме, где всегда и во всем были нехватки.

– Мало полотенцев! – говорила она сурово.

– Но я хочу искупаться! – говорил ей Александр.

– И с чего это вдруг? Дождь с утречка. Едва перестал!

– И все равно. Вода уже теплая!

– И вовсе нет, – говорила Арина. – Вы давненько здесь не были!..

Вас Ольга ждет!.. – поторопила она.

– Так полотенце...

– А-а... А сказывали в запрошлом годе вы опять в лихорадке лежали!

Но в конце концов, принесла «полотенец», как она называла. И не какой-нибудь, чуть не из новых. (И где только взяла?). Голубой, длинный, в пухлой ворсе... Александр чмокнул ее в щеку и побежал.

– Не бросьте где-нибудь! – крикнула она вслед. Но он уже бежал, с палкой в руке – и перекинув полотенце за спину. Легкий, подвижный, чем-то взволнованный.

Чем, чем?.. Только взявши полотенце, чтоб искупаться в Сороти – он и понял, что вопреки всему (вот тебе, Воронцов! вот! – смачная дуля!) – все-таки, воротился домой!..

Покуда его не было, Ольга раздумывала по-сестрински. Она решила, что лучший выход, если они с Львом – тут на союзничество она рассчитывала само собой – будут чаще уводить Александра из дому. Под любым предлогом... Пока пена сойдет и все ко всему привыкнут. – Она все опасалась отца...

Брат вышел, перекинул палку в левую руку – полотенце свисало на левом плече, – предложил правую ей – и повел церемонно – мимо трех старых сосен, сторожки, небольшой осиновой рощицы – и дал, чуть вверх, к Вороницу. Потом вдруг бросил ее руку и побежал – веселый, шальной, безумный, отбежал сажень на пять – и обратился к ней лицом. А потом она побежала сама и тоже остановилась в нескольких саженях, покрасневшая, в легкой одышке – и, дразня его, закрылась зонтиком от него. Потом он снова отбежал, потом она. Еще и еще... Брат и сестра, мальчики и девочки. Хоть ему уже – под двадцать пять (в то время – немало), ну а ей – и совсем много, барышня, незамужняя – в двадцать семь?.. (*Почему ей не везет в жизни? чего ей не хватает?*.. – он оглядел ее издали, по-мужски, не смог ответить себе – и душа на секунду сжалась за нее. Она несомненно втайне страдает... Если б он не был ее братом – она бы, наверно, нравилась ему!)

Дорога вилась в траве – иногда превращаясь почти в тропу – иногда расширяясь до большой проселочной; река все оставалась справа, порой вдруг открывалась неожиданно и вилась, прихотливая, меж луговых трав, отблескивая черным деревом, как крышка рояля в гостиной в Одессе (опять Одесса!) – иногда вдруг исчезала в траве, как смутная тоска... Солнце к этому времени совсем уж растопило лучами льдинки даже самых пустышных – перистых облачков... и залило собою свод небес – божий мир... с такой полнотой, с такой необоримой естественностью, будто в жизни не бывало – ни дождей, ни снегов, ни осеней, ни зим: одна весна-лето – бездонная глубина, вечность... Храм – и в этой храмине он был свой, деревья уз навали его, любовь упала к нему с небес и музыка лилась издали, посылаемая ему из-под самого купола. Мир велик, жизнь прекрасна, смерть невероятна...

Незаметно они спустились к озеру. Александр постоял немного, подумал – но купаться не стал. Вода почудилась ему застоявшейся – тина у кромки; темные во доросли тянулись из-под воды у самого берега, напоминая леших: он был брезглив. Он вспомнил сухой, словно просеянный – песок на том дальнем пляже – и загрустил.

Ну и нравы у нашей почты! Что сказали бы в его любимой – Воронцова – Англии?.. Читать чужие письма? Рыбу – ножом? «Беру уроки чистого афеизма...» – (из злосчастного письма). *То ли мы писали! Ну и вправду – брал уроки! И кто виноват, что наш государь нынче сделался таким набожным?.. (От нечистой совести, скорей! От нечистой совести!). «Беру уроки афеизма»... Подумаешь! А главный урок был в том...*

– Здесь живет наш батюшка михайловский! – трещала Ольга на ходу... Отец Ларивон. Но все зовут – Шкода!.. Отец Шкода. Он не обижается. – Они опять поднялись в гору вдоль опушки – и подошли к Вороницу.

– А почему – Шкода? – Избушка попа была бедна и казалась брошенной. Никто не входил, не выходил...

– За приверженность к Бахусу! Один батюшка во всей округе – да и тот вечно пьян! – рассмеялась. – Я не буду здесь венчаться! Потом еще скажут: пьяный поп венчал!

Она явно страдает – что не замужем! И впрямь – двадцать семь!..

– А я так хочу беспременно – пьяного попа! И потом скажу – что все было неправда! *«Но Ленский, не имев, конечно – Охоты узы брака несть...»* – Он хотел от вести ее от грустных дум...

– А что это? – спросила она.

– Да так... одна штука!

«Онегина» он берег про себя – и не торопился распространяться об нем. – Все равно – что сознаваться в любви!

– Потом как-нибудь!.. – сказал он сестре.

Незаметно они вышли на луг перед самым холмом. Цветы помельчали к осени – но все ж просверкивали там и сям – юные и нежные, где-то подвялые, чуть не с рожденья – как люди, которым не дано войти в зрелость. Луг был огромный, мощный – три горы съехались к нему, как былинные богатыри. Троегорье! *Представляю себе, что будет здесь весной, когда начнут стекать талые воды!..* Невдалеке девки-крестьянки в белых льняных платках, покрывавших голову и лоб, с поддержанными подолами – сгребали траву вчерашнего сенокоса. Верно, считая, что уже успела просохнуть на солнце. Или староста распорядился?

– Ну, пойдем?.. – сказала сестра, давая знак к подъему в гору.

– Не-а... – Он улыбнулся. – Подожди, а?.. Я искупаюсь пойду!..

Она пожала плечами и отвернулась. А он спустился к реке и за кустиком быстро разделся донага. Сороть здесь уходила почти обрывом в глубину: омут – темнота, чистота... Оглянулся. Сестра была далеко, прохаживалась по тропинке, стараясь не обращаться лицом к реке... А девки, что девки?.. Голого барина не видели? Они там что-то такое пели – дикое и невнятное: песнь растекалась в воздухе, мешаясь с птичьими гомонами и треском кузнечиков, донося до него не взрачные слова – песнь была глупа и прекрасна. *«И хором по наказу пели – Наказ, основанный на том...»* Он иногда жалел, что начал «Онегина». Тот врвался в его мысли, заставляя на каждом шагу рифмовать живую жизнь. Он коснулся воды ступней – раз и другой, еще не решаясь. Он стоял нагой: невысокий, худощавый, как-то правильно скроенный – точно из готовых частей. Он знал, что нравится женщинам. Нет, просто... с некоторых пор он нравился себе. С каких? О-о! *Я не заслужила такой любви!.. Да-да! Это она-то не заслуживает! – какое счастье!* И нырнул в воду. Вода была прохладной – и сразу охватила его всего, как любовь. Он ушел на глубину. Сейчас он был во Боге – и Бог был в нем. Он, сосланный в деревню за афеизм... за строчку глупого письма, по чьему-то (Уоронцова?) наущению распечатанного на почте. Воронцову было за что преследовать его. Нехорошее чувство возникло в нем. Победителя. В той полутемной ком нате, которую он снял на несколько часов у каких-то немцев – на берегу моря, застрявшего в песках... *Как она сказала? «Я не заслужила» или «я не заслуживаю»?* Он не помнил: он умер тогда. И теперь, умерший – спустился в Аид – искать свою Евридику... Орфея растерзали менады, и его голову прибило к берегу у побережья острова Лесбос. Потому-то Лесбос так славился – поэзией и женщинами. Он сплавал – туда-назад, и его голову прибило к берегу Сороти... Он вышел на берег, быстро растерся и оделся. Он бредил. Он любил. Девки вдалеке, кажется, смеялись – верно, видели его голым. Он тоже смеялся. *«... уроки чистого афеизма»... Ну и что? А главный урок был в том, что все мы во Боге, куда мы живы – а Бог проникает нас. А в царствие Божие за гробом – не верю и все тут – не верю!.. И какой смысл в нем – за гробом?..* Поискал глазами сестру. Она возникла на тропе выше его глаз – сперва лишь юбка и зонтик. «Иду! – крикнул он, – иду!» И, уже подходя, окинул взглядом ее всю – обзрел: узкая фигурка, необыкновенно изящная, в мать – особый поворот головы и этот узкий носик – греческий, чуть книзу... солнечный свет бликами на фигурке, и подумал вновь – с любовью и тоскливо: «И чего ей не хватает – для успеха?» Мокрое полотенце он нацепил на палку – и поднял в воз дух. Арина дала ему красивое, таких в доме мало!..

И так, с мокрым полотенцем на палке – как знамя на древке – он поднялся на холм и впервые после приезда вступил в тригорский дом...

В доме его ждали. Это было заметно. Слухи в деревне расходятся необыкновенно быстро. И потом... он был известен здесь – не то, что в 17-м, когда заезжал сюда – еще почти юношей, еще после Лицея. Он вошел и глотнул собственной известности. Не то чтобы жадно – но не без удовольствия.

– Ах, – воскликнул кто-то из девиц, – ах!..

Все лица поворотились к нему – а дом только подымался от обеда, и слуги уносили посуду, и за столом была, верно, вся семья. И откуда Ольга целовалась с барышнями – о, эти дамские поцелуи! – пышно, пылко и безо всякого удовольствия, – он подошел к ручке хозяйки, с которой был более знаком, нежели с другими. Она сидела в креслах, чуть сбоку, чуть в полутьме – вытянув руку из кресел – и он приник к этой руке, которая показалась даже слишком теплой – и откровенно дрогнула в его пальцах. И была она тонкой, девичьей, хрупкой... У руки не было лет, и у глаз – не было лет...

– Мы вам рады! – сказали в креслах. Александр поклонился. – Мы вам рады!..

Он ошибся: строгость шла не от глаз. От нижней губки – выпяченной, по-габсбургски. – как у *Марии-Антуанетты*... (подумал он).

– Мы схоронили Ивана Сафоновича в феврале!..

– Да, да... я слышал. Примите... – Речь шла о ее втором муже.

– Так что у нас траур – до середины февраля. У нас не танцуют. Но мы *принимаем!*.. (И, помолчав...) Почти всякий день!..

И то, что она перебила его вполне равнодушные соболезнования, и то, что говорила так обыденно и просто – разом подкупило его. Он улыбнулся.

– Почти всякий день? Я еще вам надоем!.. *Она ж, кажется, полька?.. Забыл – как ее девичья фамилия?..*

– А это – Зизи, помните ее?..

Он разом окунулся в другой взгляд, другие глаза... В них была та же чернота – только какая-то цыганская веселость.

– Евпраксия! – сказала девушка лет пятнадцати и протянула руку по-взрослому.

– Как? Зизи? Вы?.. Та самая?.. – Он ладонью показал что-то такое маленькое, от полу...

– Евпраксия! – повторила девушка. Но не выдержала тону и рассмеялась.

– Вы еще отведаете – какую она готовит жженку.

– Хорошо! Я готов хоть сейчас! Я люблю жженку! – Он обернулся – и там были третьи глаза. Такие же, в сущности – только море серьезу.

– А-а!.. Вы – Нетти, наверное?

– Нет, что вы! Нетти – моя двоюродная сестра, ее сейчас здесь нет. Но неудивительно – что вы запомнили именно Нетти!

– Тогда вы – Анна! – сказал он уверенно, чтоб отвести упрек...

– Да, я – Анна... – и чуть нахмурилась. Мир был создан для Нетти. Она к этому начинала привыкать.

– Вы узнали Алину? Дочь Ивана Сафоновича – и, конечно, моя!.. – Глаза были другие. Не материны. То есть, не мачехи: дочь мужа хозяйки от первого брака...

– Жаль, нет брата, Алексея. Но он скоро приедет! Он в Дерпте, студент... Он там сдружился с поэтом Языковым. Слыхали такого?..

Глаз было много. Женских, пристрастных... Он плывал в этих глазах, как в зеркалах.

– Такая это – пока я! – сказала, подходя к нему, маленькая девочка, и повторила его давешний жест – ладонью от полу – только над своей макушкой.

– Александр, ты невнимателен! – попеняла ему сестра.

– Прости, мое чудо! – он нагнулся, поцеловал девочке руку – как взрослой, потом ладонь – как маленькой. После поднял на воздух и поцеловал в щеку. Ей было лет пять...

– Она тяжелая! – предупредила мать.

– А правда, что ты – арап? – спросила девочка, глядя на него сверху.

– Что ты, Маша?! Как можно?..

– Простите ее!.. Кто тебе позволил звать взрослых на «ты»?

– Лучше сбросьте ее с рук!.. – почти враз заголосили взрослые.

– Видишь? Это – доверие! Мне она такого не говорит! – Ольга усмехнулась деланно – вдруг брат обидится? Они давно не бывали вместе...

– Конечно, арап! – сказал Александр, смеясь, и только выше поднял девочку. Вот, потрогай! – и провел ее ручкой по щеке, заросшей курчавой щетиной. – То-то!..

– А почему у тебя такие длинные ногти?..

– Чтоб очищать апельсины! – сказал он. – Ты любишь апельсины?..

– Если не кислые!.. – почему-то вздохнула. И, немного подумав: – А ты не дьявол?..

(Впрочем, безо всякой боязни.)

– Маша! – всплеснулись разом несколько рук.

– Нет, – сказал он серьезно. – Я – бес арапский!

– А что это? – спросила девочка.

– Ну... есть такая страна. Бес-арабия. Страна бесов!.. Я только что оттуда! Бес 10-го класса... – и сделал бесовское лицо.

– И не страшно! – сказала девочка, повела плечиком по-женски и сама стала спускаться с его рук...

Он рассмеялся. Все смеялись. Глаза светились вокруг. Взоры пересекались и скрещивались, расчерчивая вокруг него пространство. Ему было хорошо среди этих глаз. И ребенок почти потерялся среди них – кто смотрит на ребенка среди такого цветения?..

Много после, когда он уже прощался – торопливо, как всегда, – он не любил прощаний и всегда делал это как-то наспех, – девочка вновь завладела его вниманием... Она явно ждала этой минуты – терпеливо, как умеют только дети.

– Подожди, а? – попросила она жалобно. – Я вырасту. Скоро! – и я выйду за тебя замуж! Подождешь?..

– Ну, Александр! – сказала мать. – Гордитесь! Такого мы еще никому не предлагали!..

Он расцеловал девочку – в обе щеки, пошел целовать всем руки, по очереди... нашел взглядом палку в углу – с мокрым полотенцем (впрочем, оно уже высохло) – и быстро вышел, стараясь не глядеть – он был растроган. Ольга ушла с ним...

– И кто из барышень понравился тебе больше всех? – с женским интересом спросила Ольга, останавливаясь.

– Мать! – буркнул Александр. – Мать... (подумал еще)... и девочка! Может, правда, стоит подождать, а? – заглянул ей в лицо, и в лице тоже было что-то жалобное, детское...

Ольга пожала плечами и двинулась – с чем-то своим на уме.

– *И чего ей не хватает?..* – глядя ей вслед. И ответил со всей безжалостностью, какую с некоторых пор отмечал в себе: *«Порочности!»* Раскрытые глаза бытия...

Прости! Мир любит пороки... Мы любим пороки. Нам их только подавай! Страдаем от них – и любим за них! «Дон Жуан» Мольеров... Грешники, грешники!.. Но кто виноват – что в этом мире только грешники – занимательны?..

Когда они уже миновали аллею и начали спуск с холма – он вдруг с силой воткнул палку в землю – воротился к дереву на самом склоне – это была липа, и так вот, с полотенцем на плече – ловкий, как кошка – полез вверх по стволу.

– Что ты делаешь?..

Но он не отвечал, все лез – пока не добрался до первой крепкой ветви, попробовал на крепость и покачал ее рукой – а потом еще поднялся выше и оседлал ее, перекрестил ноги – снял полотенце с плеча и стал его привязывать к двум ветвям, что повыше – сперва один уголок, потом другой...

– Что ты делаешь? – повторила Ольга. Он не отозвался – и, как мальчишка, скатился по стволу вниз. Она знала его... Ему всегда приходили в голову – странные и неожиданные мысли.

– Тебе влетит от Арины! – сказала Ольга.

– Мне? Нет. Мне не влетит!..

Благо было еще светло – предзакатный час, – и голубое полотенце в розовом свете задорно трепыхалось на ветру.

Так он поднял свой флаг над Тригорским.

III

...Он понял, что прожил долго, не зная женской любви – так и не испытав ее, или она не коснулась его. (Его поздние «дон-жуанские списки», которым мы придаем такое значение, – скорей, были списки желаний, либо надежд, либо разуверений – в самом существовании этого чувства. Там мало значилось в них подлинных отношений – свершений, еще меньше – очарований свершившимся.)

Мать не любила его. Для всякого ребенка-мужчины, в сущности, это первое испытание мужского начала и первое столкновение с чьей-то чуждой и непонятной, и бесконечно влекущей природой. (Слова «эдипов комплекс» были, конечно, неизвестны ему, но сама история Эдипа...) Когда мать шла мимо, рассекая воздух статью – упруго ступая по земле какими-то особо полными, будто втайне созревшими под платьем ногами, – распространяя округ терпкий запах французских духов (он после поймет, что достаточно дешевых), – он задыхался и не знал, что с ним. И этот длинный вырез платья от высокой шеи куда-то в глубину, где есть место лишь неведомому... Он был слишком маленьким – чтоб сознать, и слишком беззащитным. Он просто страдал, и, как все маленькие и нелюбимые, только старался чаще попадаться на глаза. (Выросши, он поймет, что это худший способ привлечь к себе внимание женщины – уж не говоря про любовь. Но и взрослыми мы должны пройти эти пути свои, чтоб сделать их достоянием нашего опыта.) – Мать лишь обдавала его этим щемящим запахом и неловко и крепко на ходу прижимала на миг – неуклюжего, в рубашонке почти до полу, как всегда, некстати подвернувшегося под ноги, – к своим полным икрам. – Словно, затем, чтоб тотчас оттолкнуть: не до него. (Повзрослев, он посмеивался втайне, что, верно, и зачат был как-то на ходу – и в промежутке, меж двумя балами... когда мать была особо возбуждена каким-нибудь красавцем-кавалергардом, протанцевавшим с ней три танца кряду... и покуда муж ее, уныло стывший в незаметности, – тоскливо и в невезении тянул время за картами... и потом в постели, верно, долго отнекивалась, ссылаясь на мигрень, – но отец настоял... (Добавим, уже от себя – что отец его точно не выходил к домашним в своем распахивающемся халатике – дабы бросить торжественное: «До рождения Александра Сергеича осталось девять месяцев!...»). В зрелости – Александр легко простил мать: как светский человек светского человека. Что делать? Женщине в свете не так просто дается успех, если она, конечно, нуждается в нем – и оттого ей становятся по-настоящему нужны дети лишь тогда, когда этот успех кончается... когда (вынужденно) обновляются, наконец, шлафор на вате и чепец и приходит неизменный вечерний подсчет расходов за столом... Они с Ольгой явились у матери слишком рано – отсюда выбор Бога любви естественно пал на Льва. Но... Ольга все-таки – дочь! ее придется в будущем выдавать замуж, и хочешь – не хочешь, ей приходилось сызмала уделять какое-то внимание. А сына легче сбросить с рук... Была еще тайна – меж Александром и матерью, о которой вряд ли кто догадывался. (О ней никогда не было сказано ни слова.) «Прекрасная креолка», сама принесшая с собой в древний русский род эту темную африканскую породу, – она про себя-то не хотела, чтоб ее дети несли на себе те же следы. А Александр был темней других ее детей! (То ли дело – Лев, Левушка, младший... И кудри светлей, и нос – в дядюшку Василия Львовича, и кожа почти розовая... совершенный русачок! Смугла была и Ольга – но Ольга походила на мать и обещала потому со временем успеха в обществе. Тут мать снова вспоминала, что была «прекрасной креолкой» – забывая, что вкусы света тоже меняются.) Иногда внешность старшего сына вызывала в ней жалость. И тогда она украдкой, чуть не стыдясь – наспех ласкала его где-нибудь в углу, словно в извиненье – как ласкают ребенка-дауна или олигофрена. (Но

когда у Александра стала расти борода... и пошла расползаться клоками во стороны... и превращаться в эти ужасающие черные бакенбарды... а он еще, как нарочно, стал запускать их, – и эти ногти – словно затем, чтоб всем бросалась в глаза их негритянская синева на ложе, – мать совсем расстроилась. И даже успехи сына в литературе не могли смирить ее.)

Она была откровенно рада, что этот странный ребенок – не в меру вертлявый и не в меру задумчивый (кажется, недобрый: во всяком случае – вспылчивый: чистый порох!), чьей красотой вдобавок не похвастаешься (а отсутствие красоты в том веке свидетельствовало почти безошибочно и об отсутствии всех прочих даров) – рано приохотился к чтению (хоть что-то!) и стал пропадать в одиночестве в отцовском кабинете перед широким шкафом с французскими книгами. Конечно, «кабинет» – это тоже – слишком громко про комнату Сергея Львовича. Отец давно не пользовался ею как прибежищем духа – и уединялся в ней, лишь, чтоб раскурить трубку или тиснуть девку – что, право, не считалось зазорным, даже карточные долги он теперь охотней считал за обеденным – не за письменным. Стихов он больше не писал – достаточно того, что когда-то завоевал ими себе жену, зато гордился знакомством с видными литераторами и со вкусом переносил расхожие литературные сплетни. Брат его Базиль был почти знаменит как поэт – и это делало и его – причастным к литературе.

Мать, в свой черед, литературу тоже любила – но любовью, какой принято было в веке восемнадцатом – где почитались не чувства – но чувствительность. *«Она любила Ричардсона – Не потому, чтобы прочла...»* Не так, возможно! – но близко, ей рано нравились романы, что могли заменить несостоявшееся в ее жизни – то, о чем она, как многие, втайне мечтала... и потому это было на уровне «Клариссы Гарлоу» (про которую ее сын скажет после – «мочи нет, какая скучная дура») – если не хуже. Какая-нибудь фраза г-жи де Сталь, вроде: «Я покрывал поцелуями ее руки, которые она продолжала воздевать к небу...» – могла вызвать у нее почти плотский трепет...

В общем... у Александра было много причин, в свой час, без тоски покинуть родительский дом и уехать в Лицей, порядком уставшим бродить в одиночестве среди семейных ссор и неопорожненных ночных горшков.

В Лицее ему так же предстояло еще найти себя и отстоять. (Что старательно пытаются опустить в своих штудиях пылкие авгуры лущеной биографии Пушкина А. С...и чего еще ранее старались избегать авторы воспоминаний.) И вовсе не был он сперва в Лицее тем всеобщим любимцем и едва ли не центром лицейского братства, какого мы привыкли видеть потом – да и братство само родилось не сразу, но с запозданием – чуть не пред самым выпуском. Все вспоминают с удовольствием его кличку «Француз» (естественно) и как бы нарочно забывают другую: «Помесь обезьяны с тигром».

В жизни лицейской, на первых порах, ему не раз пришлось защищать своей «тигровостью» маленького арапа, который жил в нем, – «обезьянье» начало, кое господ лицейских по первости раздражало или отпугивало – ничуть не меньше, чем маменьку Надежду Осиповну. (Он нашел однажды случайно на один разговор о своем арапстве – двух соучеников – весьма вознесшихся впоследствии людей, – и этот разговор так и остался в нем: нетронутым, почти отлитым в бронзе – хотя сами участники оно го давно о нем забыли!). И прошло много времени, прежде чем все перестали замечать его несходство, куда облик его стал видаться естественным – и как-то слился с его талантом. Когда семья, уже после войны с Наполеоном, покинула, как многие, сожженную Москву и переселилась в Петербург, и близкие, как родители коренных петербуржцев, принялись частенько навещать его в Лицее (даже считали своим долгом) – он нередко испытывал неловкость. (Он только успел едва-едва к тому времени поставить себя в общем мнении.) Он стеснялся своих близких... По стыдное, вроде, чувство, но... Как мы стыдимся его, когда оно посещает нас, мы так же стыдимся и в дальнейшем вспоминать о нем – восстанавливать в памяти, – а потомки и вовсе стараются избыть его, дабы не порочить своих кумиров. Александр стеснялся всего: пошлостей папеньки, увядшей молодого-

сти маменьки, которой она старалась не замечать – и все еще мнила себя «прекрасной креолкой», и это отдавало московской провинциальностью (а чем Александр обладал сыз детства и мучился нещадно – было чувство вкуса, но жизнь так устроена, что именно это чувство чаще всего в нас оскорблено) – он, что греха таить – стыдился про себя все более обнажавшейся бедности семьи – и даже нарядов Ольги (единственного покуда близкого ему в семье человека). Еще он мучился явным неуспехом сестры в глазах товарищей своих, особенно по сравнению с другими сестрами... Стеснялся он тем больше – что знал, видит Бог: на самом деле – семья была уж не так бедна, просто... В ней не умели жить – ощущение, какое проснулось и после никуда не делось, – и обрекло тому, чему в ином веке нашли название не слишком верное – но почему-то устойчивое в понятиях: «комплекс неполноценности» (Лучше б они вовсе не приезжали, честное слово – или приезжали реже!).

Дистиллят всех лицейских описаний – как лицейских воспоминаний – право, обескураживает всякого стремящегося хоть к какой-то правде. Меж тем... Это было отрочество и начало юности. Самая жаркая, бездарная, самая жуткая пора в жизни всех мальчиков на свете. («Хотели б вы вернуть свою молодость? – Что вы – это так страшно!..» – так же, из речений уже другого века.) Когда начинается этот безумный зуд – с которым так рано начинают жить и так поздно расстаются. Когда женщина – только мысли о ней (увы, увы!) занимают в жизни мальчишки куда большее место – чем вся литература на свете и все войны и пожары – вместе взятые. Когда даже поэзия приходит в жизнь лишь как слабое замещение некой главной и неотступной мысли.

Надо сказать, в отличие от многих в ту пору замкнутых, чисто-мужских учебных заведений России (о чем тоже не принято говорить у нас) – юнкерских училищ и корпусов, особенно Пажеского – мужеложство в Царскосельском лицее как-то не просматривается. Такой случился подбор мальчиков – да их и было немного. Тем тяжче протекала пора мужского созревания в Лицее. Эти безнадежные влюбленности во все без исключения юбки, мелькнувшие и исчезнувшие, и бесстыдные мысли о них, сводящие с ума. И темная жажда неведомых наслаждений в тоскливом подозрении, что они куда больше, чем были на самом деле, – и тоска, тоска!.. Ночи без сна, когда помраченный ум стремится якобы к высотам духа, а руки, руки тянутся к рукоблудию – хоть привязывай их на ночь к спинке кровати.

Когда молодая жена Карамзина, в ответ на безумную записку Александра с мольбой о свидании – пришла на встречу в Китайском городке со своим знаменитым мужем – юноша чуть не умер ночью – в тоске и бешенстве. «Помесь обезьяны с тигром». Отчаянный черный предок проснулся в нем – и не существовало уже длинных веков цивилизации, и как будто не просиживал он никогда тайком, по полночи в отцовском кабинете, с потеками слез на темных щеках над сентиментальными английскими романами в плоском их переводе на французский. И поэзия, черт возьми! – какая поэзия!.. Темный тигр выходил из тропической чащи навстречу опасности и алкал жертвы. Этого свидания он втайне никогда не простил Карамзину, и оно испортило их отношения. Завершилось все, в итоге, мрачной и несправедливой эпитаграммой Александра на Карамзина, которую тот, в свой черед – до смерти ему не забыл.

А потом он вырос. Он вышел из Лицея и поселился у родителей в Коломне. Он мог уже позволить себе запросто закатиться с друзьями к Софье Астафьевне, в любой петербургский публичный дом – и провести там ночь за картами, вином и блюдом.

А после – юг, Кишинев, Одесса... Женщины, как для всей молодежи тех лет (да и более поздних тоже), делились для него на две категории: на тех, в кого был влюблен, как в некий музейный сосуд – амфору, которой можно любоваться в витрине, но которую нельзя потрогать, – и на доступных – кого имело смысл желать или кем можно было обладать. И то были два разных чувства. И они могли мирно пастись в душе – и не мешая друг другу.

Таким он ступил, верней, прыгнул с подножки экипажа, всего на несколько часов, на песчаный берег в Люстдорфе под Одессой – где-то между 25-м июля и 1-м августа 1824-го...

Вернувшись домой из Тригорского – обедать он отказался: в Тригорское они попали, как мы помним, к концу трапезы – и что-то ради них тотчас вернули на стол – и Александр прилежно хрупал тяжелыми салатными листьями и тешился остывшими котлетами, которые, впрочем, были недурны, вовсе недурны, во всяком случае, куда лучше, чем в доме родительском. Ему было хорошо в Тригорском – и теперь с этим *хорошо* не хотелось расставаться, да он вправду был сыт... Он прошел в свою комнату и взбесился с порога: первое, что он увидел, были голые наглые розовые пятки Льва – который, разувшись и развалясь на его кровати, курил его трубку и читал его рукописи (те, что он вчера, по приезде, по неосторожности тотчас вынул на стол) – так, что листки падали на пол, и пепел им вслед – падал на них... и теперь они лежали на полу в беспорядке, все обсыпанные пеплом, и дым стоял в комнате – прости господи!.. Он привык к одиночеству за годы скитаний, он забыл, что значит дом, он успел вкушать неощутимую радость того, что *никто (слышите? никто!) просто так не посмеет войти и вторгаться в мою жизнь и читать мои рукописи, которых иногда, всякий пишущий, стесняется... а теперь этот мальчишка...* К тому ж в крупных завитках – куда крупней, чем у него, – темно-русых волос брата просверкивали там и сям – сено-солома, сено-солома. На сеновале валялся, с девками – вырос щенок! Нет, положительно – жить дома невозможно, нестерпимо!.. Ему захотелось дать брату по шее – он так бы и сделал, он двинулся уже, – но из-под бумаг глянуло на него такое доброе веснушчатое мальчишеское лицо – и все в счастье!..

– Знаешь, это замечательно! Просто замечательно!.. – сказал Левушка.

– Что? – спросил Александр еще сурово.

– Все! Твой «Онегин»!..

– А-а!.. Кто тебе позволил? без спросу? – буркнул он слабо – и уже для порядку...

– Не надо, я подыму, – сказал младший без перехода и сел в постели: Александр естественно потянулся к бумагам на полу. Лев, лениво, как все, что делал (маменькин сынок!), сползал с кровати:

– Ты думал о том, что у тебя автор говорит на разные голоса?..

– Как-так – на разные?..

– Ну, иногда на голос Онегина, иногда – Ленского!..

– Может быть! – буркнул Александр. *Приметливый недоросль!*..

– Сколько глав у тебя уже?..

– Понятия не имею. Две, может, три... Ты, наверное, перепутал все!.. (глядя, как тот подбирает с полу бумаги).

– Не бойсь, не перепутаю!.. Я – грамотный. Когда ты станешь вторым Байроном...

– Первым!

– Ого!.. Тем боле! Тебе понадобится некто, кто будет знать все наизусть. Все твои стихи!..

– А зачем? Я и сам-то не все знаю. Разве нельзя просто прочесть? А некоторым, заметь – просто следует быть забытым!

– Это ты так можешь говорить! У тебя много всего!.. А нам всем следует быть Скупыми Мольеровыми – по отношению к твоим строчкам!..

Нет, грандиозно, видит Бог!.. Ты и сам не понимаешь – это выше «Чильд-Гарольда»!..

– Ну, уж – загнул! Ты лучше скажи – лучше перевода Пишотова! Тут я соглашусь, пожалуйста!..

– А не все ли равно?..

– Нет. Ты у Ольги спроси! Она знает по-английски, она может сказать, что такое действительно – «Чильд-Гарольд». А мы с тобой? Мы читаем только французского Байрона Пишо!.. Да еще прозаического! – По сравнению с Пишо – я, и впрямь – возможно, гений!..

(*Может... меня и не зря выслали, а?.. Хотя бы изучу английский в деревне. Какая-то польза!*).

– Так сколько глав пока?.. – переспросил Лев.
– Понятия не имею. Две, может, три... Все так разрознено... Где-то забегаю вперед, а где-то, напротив, отстаю...
– Это нарочно – что у тебя – и Ленский, и Онегин – сперва приезжают как бы к смерти?..
– Почему это – к смерти?..
– Ну, как? Сперва дядя Онегина... Потом Ленский – на кладбище...
– Да? Не знаю. Может быть. Не думал. Так вышло. Заметил, смотри!.. Случайно, должно быть! А, может... и правда!..
– Там о смерти очень сильно! В конце второй... «Увы! На жизненных браздах – Мгновенной жатвой поколенья – Восходят, зреют и падут...»
– Запомнил уже?..
– А как же! У меня легкая память. Я быстро схватываю. Потому мне и не стать Байроном! И даже вторым!..
Темнело. Они зажгли свечи...
– Садись и переписывай! Я скоро – в Петербург!
– Ты собираешься ехать?..
– А ты как думал? Если б не твоя история – я б уже тю-тю!.. И поминай как звали!.. Родители с поучениями – и девки воняют. Все одно к одному.
Это ты можешь позволить себе сидеть на печи – хоть на острове Робинзона. А я – заурядный человек! Надо делать карьеру. Скучно, кто спорит?.. И кто-то ж должен пристраивать твои сочиненья? А это что?.. – спросил он вдруг, почти без перехода.
– Перстень, – буркнул старший явно без охоты, – перстень!.. И не то, чтоб спрятал руку – как-то отодвинул. Перстень был на безымянном, на левой: темно-зеленый камень – с надписью.
– М-м... И откуда это у тебя?
– Подарок. Подарили!.. Не жди, что стану поверять! Взрослый уже. Обзаводись, друг мой, собственными тайнами!..
– Да? Он какой-то странный. А буквы... арабские?..
– Нет, древнееврейские! – На языке Библии, – добавил Александр несколько свысока.
– Ты, что – знаешь язык? И что там написано?..
– Понятия не имею. Если б я знал! Если б я мог знать!.. Это – мой талисман. Храни меня! Пусть хранит!..
– Значит, неплохо? Тебе понравилось? – спросил он вдруг почти жалобно, ско сив глаза в сторону бумаг, несколько в беспорядке брошенных Левушкой на стол, – брат уже покидал комнату.
– Ты, Моцарт, Бог – и сам того не знаешь!.. – сказал Лев насмешливо и не без важности. Как-никак, его спрашивали всерьез, как взрослого. И волновались его мнением.
– Откуда это?.. – спросил Александр, понизив тон, почти с испугом.
– Не знаю. Сказалось!.. А что такое?..
– Ничего. Строка!..
Лев приблизил лицо чуть не вплотную к его хмурым бакенбардам:
– Даже страшно, увы! когда-нибудь можно будет гордиться. Что ходил с то бой на один ночной горшок!..
Оставшись без него, Александр поулыбался его мыслям некоторое время. «Ты, Моцарт, Бог – и сам того не знаешь!» – повторил он про себя. Строка, строка!.. Надо будет записать!
Потом почему-то снова вспомнил Тригорское. На языке был вкус котлет. Он был не избалован блюдами... Из деликатесов он любил только красную или паюсную, нет, конечно, еще устриц, обрызнутых лимоном, к коим прирастался в Одессе. Как хорошо!.. Вообще-то трудно было стать гастрономом, выросши в доме Надежды Осиповны. Здесь скудно кормили. Как в трактире. Как сказал ему Раевский? «У вас трактирный вкус!» Кажется, он имел в виду

не только гастрономию – но еще литературу. Забавно. Одни говорят – «Байрон», другие – «трактирный вкус». В самом деле! Он много ездил. То в кибитке, то верхом... И у него был трактирный вкус. Простые блюда: ботвиньи, котлеты... Почему в России, – в трактирах, так много пьют?... Чтоб отбивать запах еды. Чтоб не замечать – как одно образно и скучно кормят. Трактирный вкус!..

Он сунул руку к шандалу и снова оглядел перстень. Под свечой – он стал светлей, иссиня-зеленый, почти голубой. Какой это – камень? Он не знал – и не решился спросить в тот момент. А теперь... теперь и не расспросить. Когда? Когда мы свидимся?... За окнами совсем стемнело, и камень стал цвета волны, цвета волн, цвета любви. Одесса, жизнь, смерть... И ничего-то более не надо! Перед ним плыли виденные им нынче девичьи лица, одно лучше другого, вроде... Но ни одно не по казалось ему важным, способным занять какое-то место в его жизни. Он вспомнил хмурюю девочку, которая сделала предложение ему... Смешно? А что, собственно, смешного? Он как-то умудрился занять собой детскую душу. Почему мы задеваем походя столько душ, которые нам далеки?... а самых ближних, любимых?... Может, правда, подождать? Весьма вероятно, его невеста – сейчас еще ребенок. Или только родилась, или делает первые шаги...

«*Вьшии Чильд-Гарольда...*» У него есть младший брат – уже взрослый. Родственная душа. И который понимает его! Он уснул – в предчувствии какой-то трепетной и легкой мысли.

IV

В те унылые иль, напротив – в те прекрасные времена, увидеть ножки молодой и прекрасной женщины – если вы, конечно, не состоите с ней в интимной связи – выше щиколоток и даже (о, блаженство!) до середины нежных икр – а может стать, и... (о, чудо!) – до самой строгой черточки подколенья – можно было лишь на пляже, когда ей вздумается играть с волнами. Это была любимая игра молодых женщин и девушек, которую свет им прощал или, скажем так, более робко – не осуждал... Игра состояла в беготне по кромке берега – у самой воды, когда начинался прибой, – и нужно было отбежать, отступить – покуда вода лишь обрызнула слегка – но не коснулась ступней, едва дохнула на непривычно голую кожу. В этой игре было особое изящество – как бы кокетство с прибоем – и нужно было, чтоб прибой – был тоже легкий.

Кабинки на пляже были редки, но там можно было разуться, снять чулки и оставить туфли... (Не более, что вы, не боле! Не дай Бог! Купание светских женщин проходило в закрытых купальнях, только для семьи, и то... Для женщин отдельно, для мужчин отдельно – а женский купальный костюм напоминал закрытостью рыцарские латы.) Женщина покидала кабинку и выходила на свет босой – что само по себе было уже дерзостью, и гладкие ступни соприкасались с горячим в меру и колким песком, что придавало походке особую осторожность и плавность. Дама спускалась к воде и здесь, как бы только перед лицом прибоа, в ожидании волны чуть поднимала юбки, уже не думая о любопытных, жаждущих или восхищенных взорах, какие могут быть со стороны – или наоборот, втайне рассчитывая на них, но так, чтоб умысел был во все не заметен. Вдоль пляжа, дальше от воды тянулся ряд шезлонгов, где было тоже много женщин – под яркими цветными зонтами, и эти женщины разного возраста – то ли в задумчивости, то ли в зависти, то ли в осуждении, из-под своих зонтов наблюдали за этой рискованной игрой – и за теми смелыми (или наглыми, или распутными – все зависит от точки зрения) – кто вел ее... Молодые люди, если были с дамами, старались не смотреть в ту сторону – но когда взор нечаянно, скользнув по песку, подбирался к самой воде... Те, что постарше, были откровенней – а что им делать? – и постоянно, что называется, бросали взгляды, которые будто застревали на пути, забывшись. Их увядшие жены при этом отворачивались и смотрели куда-то поверх – чаще делая вид, что не понимают, что тут такого интересного – или мрачно фыркали, зря подобное падение нравов, – не только той, что так изящно, в

отдалении, вступала в единоборство с волной – но и своего спутника жизни (обидно! уж она-то знала его, чего он стоит, прости мя Господи!) – который вместе с мужским бессилием обрел невыносимую похотливость.

За длинным рядом шезлонгов помещались еще места для зрителей – только, так сказать – нумерованные, разбросанные по пляжу. Там были кучки гимназистов, которые, неожиданно прекратив возню – остолбеневали с раскрытыми ртами, не стесняясь друг друга – и выражая сей миг единственное желание: скорее стать взрослыми. И прыщавые юноши архивны, застенчивые онанисты, просто страстные хотимчики – молодые чиновники из управления краем, – продолжая притворяться, что делят некий деловой разговор, сами начинали путаться в словах и краснели – оттого, что нельзя было просто так остановить вселенную и прервать беседу и, не скрывая, впериться взглядом, слишком земным, в нечто неземное... (Кстати, слово «хотимчик» изобрел некто, кому суждено занять весьма заметное место в нашем повествовании.) И молодые офицеры всех родов войск, и офицерики, и юнкеры, мечтающие стать ими, – единственные, кто в эти минуты делал вид, что ничего такого не происходит, – лениво и высокомерно прогуливались в этот час вдоль пляжа, – и у них под усиками, усами или усищами пряталась невозможная улыбка – «то ли мы еще видели», но... «а впрочем – ничего, право, ничего!.. Ох-ти!» (вздых). Они, единственные, кто были свободны – или мнили себе таковыми – и надеялись, что пора чрезмерных условностей проходит, вот уж скоро пройдет... недаром они живут в век, когда маленький артиллерийский лейтенант совсем не давно, вспомним – прошел с боями пол-Европы как французский император, и старые гордячки – европейские столицы – смиренно, на блюде, одна за другой вы носили ему ключи...

Дети бегали по пляжу, их матери – чаще няньки и мамушки – старались удержать их в той части берега, где песок еще не успел намокнуть от волн (легко простудиться), но тщетно. Тщетно... их так и несло, на этот притемненный близостью моря передний край... чего? жизни?..

А безумная женщина с прекрасными обнаженными ногами вставала над пляжем, над миром, возносилась – как знак судьбы. Мир был прекрасен, солнце сияло, улыбался берег... (Было начало предвечерья, время прилива, и легкий бриз, точно смеясь, поигрывал цветными парусами зонтов.)

Ноги были стройны – чуть тонковаты, пожалуй, при таких бедрах... но, впрочем... может, корсет?.. – они были необыкновенно нежны. Воздух пел в них, их гладкая кожа отдавала нездешним теплом и светом – прелестью непреходящей жизни... Кажется, светилось само Бытие: пляж, море солнце – и ноги женщины, сквозь которые течет свет, неизвестно когда и почему озаривший нашу утлую планетишку и сочетавший ее, беспутную, с Богом, чтоб после, когда-нибудь – исчезнуть вместе с ней. Для того, чтоб мы ощутили свет – необходимо, чтоб он освещал нечто – необыкновенно значащее для нас.

«Ах, ножки, ножки, где вы ныне? – Где мнете вешние цветы?..» Куда девалось это все – ноги, песок, земля – по которой они ступали?.. Куда девается? Наш след на земле, на самом деле, куда слабей, чем последнее дыхание на зеркале, которое так быстро истаивает на чьих-то глазах. Которым, впрочем, тоже суждено истаить. Куда девались эти ноги, вызывавшие такое безумное восхищение и такое безудержное желание, которое тащило нас за собой, как пленников, как данников – на вервии страсти, влекло – куда больше, признаемся, куда мощней – чем даже власть и слава – чем даже искусство!.. Мне сказали как-то о женщине, что была знаменита в теперь уже прошедшем веке тем, что *сотрясала* сердца: «Боже мой! Эти воспетые поэтами ноги – превратились в колоды!» (Кстати, в колоды превратились, по воспоминаниям – и знаменитые ноги Натальи Николаовны Пушкиной, когда она давно уж была Ланской – а первый ее муж давно исчез в могиле.) Что такое жизнь – как не послепоуденный отдых фавна, который зовется Смерть – и который лишь один обречен на бесконечное время?» И теперь это легкое дыхание развеялось в мире...» С годами начинаешь бояться – переулков любви, улиц

своего детства и юности, и проходишь быстро-быстро, опасаясь, чтоб кто-нибудь здесь не узнал тебя – а больше, чтоб сам ты не узнал кого-то... Улица течет, обдавая жаром ушедшего и глумясь над тобой сегодняшним блеском... А ты все страшишься: вдруг за поворотом возникнет какая-нибудь *Она*. Тяжело волоча к неизбежному эти ноги-колоды, те, что снились некогда без разбора – всем без исключения: юнцам – от одиннадцати лет и до бесконечности, до совсем старости – на этой улице, на других... Сон-явь, сон-явь – оставьте меня с вашим снами! «Что вы все твердите: время проходит! – это вы проходите!» – мудрость, восходящая к царю Соломону – а может, и дальше вглубь? – нашей неказистой, странной, печальной, прекрасной – и слишком всерьез, увы! – воспринимаемой нами жизни на этой жалкой лодчонке, на острове Робинзона, затерянном в океане миров, к которому (утешительная ложь!) – на самом деле, никогда не пристанет ни один корабль вселенной.

Где-то 25-го или 26-го июля 1824 года, 10-го класса Пушкин А. С., чиновник канцелярии генерал-губернатора – шел берегом моря в Одессе и мрачно ругался – про себя, а иногда вслух, как бывало с ним, когда он был уж совсем бешен: – *Пошел прочь, дурак!* – вскрикивал он вдруг, так, что встречные оборачивались и могли принять за сумасшедшего, или: – *Ага! Он ревнует ее – старый пес, он ревнует!..* К счастью, не встретился никто из знакомых. Прохожие удивились бы еще более, если б узнали – кому адресовалось это все: лично губернатору Новороссийскому и наместнику Бессарабскому – его высокопревосходительству графу Воронцову. Теперь Александр точно знал – его изгоняют из Одессы. Только что Вигель Филипп Филиппыч, который был в доверительных отношениях с наместником, а значит, и с Казначеевым, начальником канцелярии, узнал из первых рук и поведал ему, что разрешение из Петербурга прибыло, приказ подписан – и теперь уж дело дней. Его высылают на Псковщину, в имение родителей. Вигелю он верил – они были дружны, – правда, с Вигелем, в силу некоторых причин, не так-то просто было быть дружным, но... Александр, судя по всему, принадлежал к исключениям. – Наверное, Вигель считал, что молодой человек по-своему страдает ему, а этот весьма остроумный, изощрившийся в остроумии – правда, более всего на чужой счет, господин (свойство, часто делающее человека скучным донельзя!) – почти не мог скрыть, что нуждается – именно в сочувствии и сострадании. На самом деле, Александру он был, скорей, любопытен – тот просто дивился ему: Вигель был в обществе известен как «тетка», – так чаще называли тогда – то есть, мужеложец, – неспособный даже к браку, что в обществе, надо сказать, не поощрялось. (Там – грехи, сколько хочешь и как хочешь, но брак обязан покрывать все!). Правда, Вигель был из тех немногих в этом своем качестве, кто почитал себя несчастным и страдал от себя... и, вместе с тем, с надменностью и сардонически усмехался – давая понять, что, несмотря на трагичность сего обстоятельства – собеседник его или собеседники являют полную неосведомленность в предмете и какую-то детскую наивность. Александр же – так любил и почитал Женщину вообще – что просто не мог понять, как такому наслаждению можно предпочесть что-то... Несмотря на шестьсотлетнее дворянство, коим он кичился, признаться, к месту и не к месту – Александр был в чем-то очень прост, даже мужиковат – и ничегошеньки не смыслил в поэтике однополый любви... У них даже споры выходили по этому поводу. Вигель узнал еще, что на почте распечатано какое-то его, Александра, письмо, которое показалось властям неблагонамеренным, и, притом, настолько – что было показано государю или кому-то там еще, на самом верху. И теперь его, Александра, планам, которые Вигель знал, – а он по наивности, не скрывал, и не только от Вигеля, – расплесться с Воронцовым, выйти в отставку, а там застрять в Одессе, предавшись целиком литературе – можно сделать ручкой. Вигель, хоть откровенно (и искренне), в свой черед соперничал ему, – но, как всякий смертный, кто в данный момент и в данных обстоятельствах – оказался в чем-то выше или удачливей нас, – не обошелся без нотаций: как следует вести себя с сильными мира сего, с тем же Воронцовым. (Во-первых, не называть его, да так, чтоб все слышали – Уоронцовым! – что несомненно докладывают графу –

при всей своей аглицкой складке и даже английском либерализме, которыми он славился – как всякий почти российский чиновник, граф призревал стукачей... Не мы придумали этот мир, каков он есть, и не нам дано что-нибудь изменить, почтеннейший Александр Сергеич!).

– *Он отослал ее, нарочно, чтоб проверить это дельце!.. Чтоб все свершилось без нее! При ней бы он не смог!.. И для того, чтоб мы большие не свидетелись!..*

Эта мысль не только угнетала его, она была ему приятна. Слаб человек! Тщеславие забивает в нем все прочие чувства. *Всесильный губернатор, наместник царя (почти наместник Бога) на всем русском юге – вынужден считаться с существованием в своей жизни – и жизни собственной жены – кого? Чиновника 10 класса из собственной канцелярии!..* – Такое могло привести и не только Александра в состояние какой-то возбужденной гордости. Но страх – что он больше не увидит ее...

– *Он ревнует, это точно!..* Александр прилаживался к этой мысли. Он ласкал ее и страдал. – *Если б только не надо было уезжать!..*

Елизавета Ксаверьевна – жена Воронцова уехала – с месяц назад погостить к матери, в Белую Церковь. Она была урожденная графиня Браницкая – и род ее шел от тамошних гетманов – Белая Церковь была их семейным гнездом... Александр мог подумать, что этот отъезд – показавшийся ему, впрочем, еще тогда поспешным, загадочным – как-то связан с его неприятностями.

Может, он догадался, что она меня любит?.. Любит! – Поворот, который за ставил его улыбнуться! Воронцов все понял. Я любим!.. Любим! Он боится, чтоб ему не наставили рога! Он – рогоносец! «И рогоносец величавый – Всегда довольный сам собой...» Грусть и бешенство вдруг сменились улыбкой. Ненадолго, конечно. Он меня высылает, высылает!.. Этот известный всей России либерал состряпал на меня донос!.. Сделал все, чтоб избавиться... И от кого? От любовника собственной жены!.. – Он увлеклся, разумеется! Он не был пока любовником Воронцовой, и мало что предвещало, что станет им. Был просто молодой человек, который почитал себя выше – и даже наместника юга – потому что был моложе, и это как бы давало ему право... Подлость Воронцова была в этом случае в некотором смысле приятна ему: как бы избавляла от нравственных обязательств. Хотя, скажем прямо – он был в том возрасте, когда эти обязательства на нас мало влияют. Бешенство – и улыбка. Улыбка и бешенство... Вместе с обидой его грела мысль, что симпатии графини к нему, в какой-то мере, решили его судьбу... «Старый муж, грозный муж – режь меня, жги меня!..»

Может, когда-нибудь он вспомнит эту свою прогулку по пляжу в Одессе – и посокрушается. Может, сам, испытавши ужас бессилия старшего годами перед неким молодым наглецом – поймет, что должен был тогда испытывать другой – которого он сейчас так истово ненавидел, – кто знает? Хотя вряд ли, вряд ли – смена позиций переменяет с неизбежностью – и все наши ощущения.

...и в этот момент он увидел ноги. Те самые – на берегу. – Впрочем, сейчас на них смотрели все. Женщина играла с волнами, как играют с огнем, – и Александр, как ни странно, тотчас узнал ее по ногам, хотя ни разу в жизни не видел их вживе – они всегда были под платьем. Ну, может, разве поворот фигуры... Эта сцена тотчас напомнила ему другую... о ней как-нибудь потом, потому что и Александр, вспомнив (это было, как укол), почти тотчас позабыл – то, другое... Женщина была княгиня Вера. Вяземская, к сожалению – то есть, жена друга. Обстоятельство, которое, увы! (хоть он порой и сожалел!) – значило для него слишком много. Он понял, и до вольно рано, что явился в мир, где все по-настоящему прекрасные женщины уже заняты, и должна начаться война за передел... Но друг, друзья... (*Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы. – Что есть избранные судьбами...* – Ну и так далее. Тут он был пурист.) Княгиня недавно приехала в Одессу – была его конфиденткой – и они лишь церемонно прогуливались вдоль пляжа, видались почти ежедневно и были дружны. И все!.. Кстати, Вера Федоровна брала в эти дни и полное участие в тяжких Александровых обстоя-

тельстввах. (Не скажем, что княгине Вере после обошлось слишком дорого это ее «свободное падение» на глазах у всего одесского пляжа, выразившееся в омовении безупречно узких лодыжек в морской воде на глазах у восхищенных зрителей – но пару неприятных минут оно ей принесло. Мужу, конечно, доложили, и очень скоро, и он, что называется, заскучал. Он после уверял всех, что сам, беспокоясь о друге-Александрe – послал княгиню Веру к нему на юг, дабы как-то помочь юноше среди сгустившихся туч. Более того, он и верил всю жизнь – что все так и было. На самом деле, с женой они поссорились из-за амурных походов князя, который, несмотря, что был безупречный семьянин, не мог пропустить ни одной юбки – от семнадцати и до сорока... Нет-нет, он верил жене и был почти в убеждении, что она не изменяет ему. – Немногие в свете в та поры могли похвастать подобной уверенностью! И что у нее с Пушкиным ничего не было – и боле того, не могло быть. Но частое общение жены с Александром – там, вдали (о чем она не уставала регулярно уведомлять мужа – была такая игра!) – да еще известие об этом купании на глазах у всего пляжа – невольно привело князя к мысли – что втайне Вера все ж увлеклась там Пушкиным, и может даже, *желала его* – ну, хотя бы, мгновениями, согретая южным солнцем и жаркими виденьями, и на грани чувств материнско-сестринских – и иных, какие порой, и в самые неподходящие минуты, просыпаются в нас. Князь, по возвращении, сделал ей замечание только вскользь, касательно эпизода с волнами – говоря лишь, разумеется, о примере, какой мать подает детям – а сам впал в мрачность, и несколько времени – неделю или две – в ней пребывал, – уловленный терпкостью бытия и обманностью и несовершенством мира... Он даже попытался писать стихи о превратностях любви, но стихи не шли, князь, хоть и ходил издавна в поэтах (куда раньше Пушкина, ибо был старше), про себя-то понимал, что от природы слишком рационален, – и чаще норовил сбежать от стихов к другой подруге – прозе: точной, благозвучной, но слишком рассудочной. Тут он в России ходил в монтенях и слабо утешался сим. А в стихах... еще были Жуковский, Пушкин, – не обойти, и это раздражало.)

Александр помедлил и сбежал к берегу.

– Вы прекрасны, – сказал он княгине Вере – и почти без стеснения. – Вы пре красны!.. – И ощутил, как под шляпой с полями – краснеют уши. Он был влюблен в нее сейчас, он был влюблен во всех – в мир женщин в свете южного солнца, едва открывавшийся сей миг в ее узких лодыжках и гордых икрах. Солнце клонилось ниже – и почти стекало по ее ногам.

– А меня вы совсем не хотите замечать? – спросил чей-то голос сзади – он по воротился к череде цветных зонтов над шезлонгами, и узрел ее. Он не поверил, он едва не отпрянул – как от призрака. Графиня Воронцова была под одним из них – совсем близко – шаг, два?... А как же Белая Церковь, замок Браницких?

– Вы уже приехали? – спросил Александр – не слыша собственного голоса. В ее карих глазах, сейчас, при свете – казавшихся совсем светлыми – была жизнь. С которой он почти расстался, которой он не заслужил. У него кружилась голова. Он подошел...

– Милая, – сказал он без всякой робости и не заботясь о приличиях. – Милая!..

Он уезжал, он прощался... Ему было нечего терять.

– Милая! – и приник к руке на поручне шезлонга. Сумасшедшей руке, все счастье. *Я сошел с ума. Вы сошли с ума. Мы сейчас сойдем... Спятивший мир смотрел на него, щурясь от солнца.*

– Я сейчас приду к вам! – крикнула им княгиня Вера – крик упал в пустоту, что внезапно окружила двоих.

– Так они пришли вместе? – успел подумать Александр, умирая.

– Я все знаю!.. – сказала графиня. – Его ни в чем нельзя убедить! Мужья слишком упрямы. Вы это поймете – когда станете мужем. А может, напротив, перестанете понимать!.. – она улыбалась. В улыбке была печаль – или что-то другое, еще более нежное и сладостное. Он не знал, что – но понял: они заодно.

– Милая! – повторил он. – Единственная. – и снова поцеловал ей руку. – Я думал – уже не увижу!.. Он был отчаян. Он впервые говорил ей все, что думал. А может, не только ей... Впервые! Все-все!.. *Зачем вы здесь?* – шло где-то в глубине. – *Зачем? Чтоб я понял, что расстаюсь с этой нелепой жизнью?..*

И ощутив, что сейчас он скажет и это – вообще все: о ней, о себе, и даже о ее муже – он умолк. *Война за передел!.. В этой войне он проиграл!..*

– Вы знаете Люстдорф, вы бывали там?.. – спросила она. *Люстдорф!.. Зачем? Что сказать? Ах, нет, он не бывал. А теперь уж вряд ли. И при чем тут – Люстдорф?*

– А зря! Это – немецкая колония, там очень красиво!..

– В этом мире – красивы только вы! – решил он...

– Да? А княгиня Вера? Вы переменчивы, мой друг. И вы несправедливы!..

Это был упрек. И это было ревниво... Упрек женщины, знающей себе цену... но кто в мире – может быть уверен до конца в собственной цене? Было что-то горькое в ее словах. Горечь, тайна...

– Поезжайте!.. – сказала она. – А то... может, долго не увидите! – она смотрела как-то странно. – Хоть завтра с утра. Вот, завтра с утра – и поезжайте. А то потом вдруг не успеть!..

А лучше сегодня. Как вам нравится – такая мысль?.. Сегодня, ввечеру. Берите извозчика. Остановитесь на ночлег – у каких-нибудь тихих немцев... Где вас никто не знает!..

Он ждал в безмыслии. Полном. Ничего не понимая, не соображая...

– А завтра днем... – она помедлила. – Где-нибудь – часа в два... выходите на берег. Ну, туда, куда прибывают экипажи!..

– И все? – спросил он жалобно. Тонем полного идиота.

– И все. А что еще может быть? – княгиня даже пожала плечами от его глупости. – Ничего! (повторила). – Княгиня Вера, вы готовы?.. (Вера Вяземская подошла незаметно. То есть, может, кто-то и заметил – только не он.) И мне пора! Меня ждут!..

Он машинально потянулся губами к двум женским рукам – и не был уверен, какая – чья... Они простились с ним и пошли. Он остался стоять, тупо глядя вслед. Две женские фигуры – две молнии в очах. Но он больше не думал – и даже о Красоте. Их фигуры покачивались в глазах вместе с зонтиками, и сами были как бы частью зонтов. Он ничего не понимал, он не знал главного. Что это было – ее слова?... или игра воображения сыграла с ним злую штуку?.. Сыграла с ним. Судьба. Выкинула. Отмочила. Что он мог ей дать?.. У него ничего не было. 10 класса Александр Пушкин. Дочь графов Браницких – бывших польских гетманов. Жена Воронцова, наместника. Война за передел? Но у него ничего не было. Разоряющиеся имения. Отец, который вечно жалеет денег. Ничего – кроме слов. Слова, слова... Он один знал их смысл – их звучание и их значение. Больше никому это было не нужно. Кроме нескольких... Избранных. Избранников богов – или просто безумцев бедных?..

Где-то в мозгу горела одна точка. И у нее было имя. Немецкое почему-то: Люстдорф! Еще вчера он не слышал о нем – или оно не несло для него никакого смысла.

V

Его Вечность была краткой – всего два часа. Ну, два десятка, если точно. Он после не мог вспомнить – как она приехала. Как спрыгнула со ступеньки экипажа – в большой шляпе с полями и под густой вуалью. Сошла на берег. (Берег совсем ушел из памяти – проснулся, и нет.) Он, верно, подал ей руку, а сам отпустил экипаж... Он не помнил. Как шли вдоль берега, кажется, молча – а после повернули к домам – где был один, который их ждал. Он в вечер перед тем снял комнату с отдельным входом и до ночи бродил по ней из угла в угол, пытаясь представить себе... А что он мог представить?

«Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем...»

Может, он ошибся? И это было не назначение свидания – а просто... Что – просто? Шутка? Разве так шутят? (Он сознал свою неопытность.) А может, так принято шутить (или так приличествует) – в том кругу, где была она своей, а он еще не был своим и пока сторонен (слово «маргинал» – «маргинальный» – не входило тогда в язык, коим он владел... Все равно! в том кругу он несомненно был пока – «маргинал»). Или просто хотела подарить ему счастье ожидания?... Да-да!.. можно отдать жизнь – и за это счастье: ждать ее. Бесплодно? Кто сказал – бесплодно?... А вдруг что-то помешает ей приехать? Свободно – может что-то помешать! За боты, свет, муж... Их столько разделяло в мире! Он даже не помнил, как ждал на берегу – пока не возник вдаль экипаж из Одессы. Черная точка – надвигаясь и вырастая. Долго: две жизни – три... Главное, чтобы это в самом деле – оказалась она! А куда они шли, и входили, и невольно (раз или два) оглянулись – им никто не встретился. Немецкие дети играли во дворе – и даже не поглазели им вслед. Воспитанный народ – немец, ничего не скажешь! – не то, что...

«...пророческие видения головы своей на ложе своем...»

Он только не ждал, что все выйдет так просто! Что она поцелует его сама и прижмется на миг сама – будто отгаивая: привыкая. Желая убедиться – что это он и есть. И после быстро-быстро начнет раздеваться – не стесняясь... И даже не бросив для приличия женского – «Отвернитесь!»... словно это уже *было* – или *могло быть* всегда. Будто, как он, считала минуты до встречи – а теперь... торопитесь! – снам приходит конец, за ними – пустота, пробуждение. Он готов был закричать: – Нет! Так не может быть! Воистину! Так не может!..

«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, грозная, как полки со знаменами?..»

Он умер и видел сон. Говорят, больной еще слышит, как врач над ним свидетельствует его смерть... А потом он попал в рай, его охватила волна, окатила... и волны рая закачали его в ладонях своих. (Почему все эти дни в его душе мысль о смерти так часто была мыслью о жизни?..) Жизнь толкнула его в это небытие – в объятья, которым не дано было сбыться, и может, не надо было сбываться...

Бог потрудился на славу, и труды его были хороши. Это далось ему не легче, наверно – чем соловьиное горло с трелями – так, чтоб их извлекала из чрева своего, на утеху нам, соловьиная ночь со звездами...

Создатель спорил сперва с розоватым мрамором – верно, тем самым, что древние, не верившие в него, греки добывали руками молчаливых рабов в мрачных, полных нечистот, каменоломнях на Кипре, неподалеку от города Пафос, где безумный скульптор Пигмалион сотворил свою Галатею – такой, что она могла ожить – или была уже живой в камне. Из того мрамора были плечи и руки, словно вырубленные в скале, по склону которой тек виноградник... И две молодые полные виноградные грозди, словно проросши из мрамора – сползли с плеча, дыша бродящим вином и молодой кровью... *«Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Гала ада...»* Когда она отвернулась, чтоб вынуть гребни, как-то враз выпавшие из волос – и швырнуть их в груды белья и платья на кресле – две продолговатых апельсиновых доли качнулись над ногами – и в такт ногам, и ноги стекли вниз, как две молочные реки в кисельных берегах или как два весла, спущенные на воду – и ушли, как в воду – в коврик на полу, где выцветшая Гретхен в белом порыжевшем чепчике все подливала и подливала из кувшина безвкусное немецкое молоко кому-то, кого не было видно... *«...как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними...»* Живот был тоже чуть розовый и подрагивал на ходу – будто нежные овцы шли по склону горы – гордясь руном, которого еще не коснулся жадный Язон, но за которым бесспорно имело смысл плыть в Колхиду... Где-то посреди живота руно сворачивалось – и сходилось тонкой нитью. Золотой

пушок полз стрелочкой – от пупка вниз, словно указуя... И там, в самом низу, меж золотых овец – пряталась маленькая и черненькая.

– Не смотрите так на меня! – сказала она. И, уже улегшись рядом: – Не смотри так – я заплачу!..

Слов не было. Ни стихов! Их больше не надо было писать! Зачем?.. Лучшее было уже написано в Божью книгу. И соловьиные трели замерли в горле Пушкина.

Он в постели почему-то выросал – казался длинней, чем был. (Это ему не раз говорили.) Небольшого роста, почти невзрачный в одеждах, – в постели, нагим – он делался необыкновенно строен. Худенький мальчик, впервые оставшийся наедине с женщиной. Если б не эти черные – незнамо куда вечно разбегавшиеся по щекам бакенбарды... он и вовсе казался б – совращенным мальчишкой. Скорей всего, это именно в нем и привлекало. Худые длинные бедра, чуть вогнутые от худобы – и необыкновенно сильные руки – с бесконечными в длину – тонкими пальцами музыканта, которые хотелось ломать, как тросточку... он их часто и ломал – стискивал до хруста, и это всех раздражало. Только ногти, которые он столь любовно отращивал зачем-то (из вызова?) – заставляли женщин в его объятиях опасаться, что он их поранит – а мужиков и баб в деревнях считать его чуть не дьяволом...

– Не бойтесь! – сказала она ему. – Не бойся! – как маленькому. И даже успокоила его: – Это я виновата! Я так хотела! Ты тут ни при чем!..

О, ты прекрасна, возлюбленная моя! ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими...

– Погодите! – шепнула она. – Не торопись!.. Не так быстро! Я сперва стесняюсь... (Это» сперва» – из сокровищницы женского опыта – немного кольнуло его. Но он не стал думать.)

Он потянулся к ней не рукой – пальцами: ногти? – в самом деле, опасаясь сделать ей больно.

И коснулся той самой стрелочки – свитка золотого руна на животе.

Она закрыла ему рот влажной рукой – не от пота, конечно, влажной – от нежности. – Тсс!.. Это твоя тайна! Это – тропинка счастья!.. Тише! Тише!..

И он выпил нежность с ладони ее – сколько было там, столько и выпил.

Левая рука его у меня под голову, а правая обнимает меня...

Она говорила ему: – Я не ждала, что вы такой!..

– Какой?..

– Совсем мальчик!.. Я чувствую себя старой рядом с тобой!..

– Ты стара?.. Вы сошли с ума! Если ты стара – я не видел молодости!.. Ее нет на самом деле!

– Прекрасна ты, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!..

– Да, это – «Песнь песней»! Я знаю. *«На ложе моем я искала того, кого любит душа моя!..»*

Он говорил ей: – Ты прекрасна! И душа твоя еще прекрасней, чем тело твое!..

– Молчите! Что ты знаешь о ней – о моей душе?.. Что вы знаете? ты знаете?.. Ничего не понимаю! Мы запутались с тобой – как в ветвях!

Он. Тропинка счастья?..

Она. Тропинка счастья. Есть еще родинка! Хочу привлечь ваше внимание!.. Твое внимание! Тут... Твое! Ты!..

Как ты, прекрасна, возлюбленная моя!.. стан твой похож на пальму, и груди твои – на виноградные кисти!..

Она говорила ему: – Мой нежный мальчик!

– Вся нежность от тебя! Это ты рождаешь ее собой! Я...

– Просто... я долго искала его на ложе своем – но его не было!..

– Я не оцарапал тебя?

– Нет. Хочу! Хочу твоих когтей! Мой маленький бес! Мой арапчонок небесный!..совсем безумица, да? Вы не сможете меня уважать! Ты не сможешь!..

Он знал теперь: не было такой женщины в его жизни!..

...влез бы я на пальму... ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок!..

– Ты – мальчик совсем! ты не понимаешь!.. Лучше быть вовсе несчастной женщиной... чем несчастливой!..

...нет, была! Цыганка под Яссами!.. В издранным шатре – над которым, в рванине, висела луна. – Самое эротическое из светил. Круглая, нагая... Безумная Галатея небесного Пигмалиона.

Он говорил ей: – Все женщины должны ненавидеть тебя! Ты – нарушение равновесия мира!..

Она улыбалась... – Я помню, как ты глядел на ноги княгини Веры!..

– Это потому, что еще не видел твоих!..

– Ну да! Врешь!.. Солги мне еще!.. Ты сладко врешь!.. Я не слышала такой сладкой лжи!.. *Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою...*

...та была почти такой! Что такое любовь, страсть? Откуда это берется?.. Жена наместника, графиня из рода гетманов польских... Лежала перед ним – и билась в беззащитной нежности, как нищая цыганка в шатре под Яссами.

– Только ей так не говори! Той, что сменил меня! Женщины не умеют это ценить!.. Говори мне! Солги! Я хочу быть обманутой!..

Солги! Солги!..

Он. Я не смогу больше жить! Я не могу представить тебя с кем-то...

...ибо крепка, как смерть любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные...

– Сможешь! Молчи! Нам с вами, сударь, запрещено об этом! Все могут!.. Все могут!..

– Я могу быть безумен?..

– Да, да!.. А я разве могу представить тебя с другой?! Ты уничтожил меня своей нежностью!

– Из меня рвутся грубые слова! прости! Тяжелые, грубые?..

– Да. Пусть! Пусть! Хочу грубых слов!.. Твоей грубости, моя нежность!.. Испытания дьявола... Ты слишком нежен. Но я узнала тебя... дьявольские когти!..

Он выругался – грубо и страшно.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее...

– Ругайся надо мной!.. Скорее!.. Скорей!.. Солги мне! Солги! Солги!.. (и закусила губу – и на миг стала некрасивой).

Изданный шатер накрыл их в бесприютной степи. Нагая луна выла над ними. Пахло жизнью и смертью. Бесшерстая волчица стонала рядом с ним, закусив губу. Круглая, нагая, нагая...

Она обняла его: – Я не встречала такой нежности!.. Ты – самый нежный мужчина – из всех, из всех!.. (И почему-то ему не сделалось страшно – попасть в перечисленье. После – чуть помолчав, и уже – почти по-светски.)

– Вы слишком нежны! Бойтесь, друг мой! Это вас погубит!

Потом она мелькала перед ним по комнате – мечась туда-сюда. Было явно уже, что она торопится... Он лежал, не шевелясь – не то, чтоб совсем прикрыв веки, но шурясь... И видел лишь одни начала – детали, вне целого. Икры ее и сейчас были прекрасны и беспокоили. Две апельсиновых доли качнулись изысканно... Потом бело-розовая рука долго плавала в воздухе, что-то ища, и светилась – как на картинах старых итальянцев. И движение – каждое – напоми-

нало о музыке: ритм, тональность. В руке ее оказался кувшин с водой... Он все еще поверить не мог, что это случилось.

– Теперь закройте глаза и отвернитесь! – Он выполнил молча. И вспомнил, что ему бы тоже надо прикрыться. Все кончилось, кончено... Он натянул простыню. Он любил безумно – но почему-то знал, что у этой любви нету «дальше». Он лежал спокойно и испытывал раскаянье плоти. Эта женщина была *его женщина* – и все, что шло от нее – было благо, счастье, и было соприютно его душе. Шуршание – она одевалась. Он знал, что женщины не любят, когда на них смотрят в эти минуты... Вот, обратный процесс – они считают, радуется глаз. Да и, в самом деле, верно!.. Выждав, как воспитанный человек, несколько минут – он тоже выскочил из постели, сполз с кровати – за кровать, на другую сторону, совсем голый – будто прячась и не глядя на нее, быстро стал одеваться сам. Поднял голову – она была почти одета, только волосы... рассыпаны по плечам, и это делало ее, если не вовсе – то все еще беззащитной. Она вдруг подошла и поцеловала его.

– Вы уже позабыли про меня? – спросила она ласково. Он прильнул к ее руке и испугался, что заплачет.

– Теперь вашу руку, – сказала она властно. Что-то было в ее ладони...

– Что вы! – сказал он. – Я не принимаю даров! Паче, от женщин!..

– Это – не подарок, это – талисман! – Он почти с усилием разжал руку – она искала подходящий палец на его левой, выбрала безымянный – и надела кольцо... Перстень с прямоугольным выступом – и с монограммой. На непонятном языке. Он покосился прочесть... *«Подобно надписи надгробной – На непонятном языке...»*

– Не прочтете! – улыбнулась она. – Это – древнееврейский!.. –

– А что там написано? – спросил он не без опаски. Он был суверен...

– Понятия не имею. Но что-то хорошее! Пожелание, верно!.. Пусть он вас хранит!.. От сглазу, от белого человека...

Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою...

– Почему именно – от белого?

– Не знаю. Так сказалось. Может – от черного!.. И от нее! От моей удачливой соперницы! – Она улыбнулась. – Вы слишком нежны! Берегитесь – вас может погубить женщина! – она взяла его руку с перстнем и прикоснулась к ней губами. Поцелуй был еще влажен. *Я – любовь, принимайте меня, как я есть, я влажна!..*

– Что вы! – растерялся он. Но понял, это – прощание, и, скорей – навсегда. И принял ласку, как должное... Он был счастлив, растерян, почти разбит. Она прибрала волосы, надела шляпку, опустила вуаль – и они вышли из дому и церемонно двинулись к берегу. Под руку, но невольно отодвинувшись... или все отодвигаясь. С каждым шагом как бы отдаляясь друг от друга – и оттого, что случилось здесь. Вскоре вдали явилась темная точка. Тот же экипаж, тот же возница... Александр понял, все было расписано... Минуты, часы, путь сюда – путь назад. Мудрый расчет светской женщины. Но он был слишком счастлив и слишком смятен – чтоб поставить ей это в вину.

Возница не взглянул в его сторону – и не показал ни жестом, что видел его: всего два часа тому... Александр глядел вслед. Коляска, удаляясь, покачивалась, как бедра. Черная овечка исчезла среди стад.

Вернувшись в дом, он рухнул на постель – в чем был, одетый, даже не попросил прийти служанку и прибрать в комнате. Кстати, вынести урыльник, почти полный, – Александр сам резко задвинул его под кровать – неаккуратно, едва не расплескал.

Он лежал на постели, не думая ни о чем – без желаний, без надежд, не смеясь, не плача... В комнате пахло духами, любовью, мочой... Он улыбнулся. Он понял, ему приятно, что ее урыльник – еще здесь... под кроватью – под самой его спиной. Запах близости... Ему было хорошо – и даже от этого.

Наутро он оставлял Люстдорф. Немцы-хозяева долго кланялись, пряча деньги в резной ящике на высоком комоде. Он отдал все, что было...

С ней они больше не увиделись, конечно. Через день княгиня Вера собирала его в путь – и была грустна. Слуга укладывался, а они командовали им по очереди. И почему-то старались не глядеть друг на друга. Словно знали, что виноваты... (В чем?) А Раевский Александр, его друг – который, кстати, некогда и представил его госпоже наместнице, – присутствуя при сборах (тоже через день, но уже в отсутствие княгини Веры), – усмехнулся ему в спину и спросил, как будто, между прочим:

– Ну-с! У вас по-моему, есть основания быть не столь мрачно при отъезде?.. Вы утешены хоть малость?..

Александр весь сжался и бормотал несурзное. Он тупо соображал на ходу: откуда? что? когда?..

– Не бойся, – сказал Раевский, одарив его из-под очков жесткой улыбкой демона. – Они всегда так переходили – с «ты на «вы», с «вы» на «ты»... – Я же – не милорд Воронцов... вы мне не доверяете? Ну, Александр, дорогой, не дуйтесь – вы мне не нравитесь! Я просто так спросил! Если тебе уезжать – это вовсе не значит, что мы перестаем быть друзьями!..

«Итак, я жил тогда в Одессе...» Еще через день он уже ехал на Псковщину.

VI

...И вдобавок оказалось – приехал *не так!* (На Руси так принято, что в ней, по недостатку законов – все, наделенные хоть какой-то властью, норовят вводить свои, – и вполне искренне удивляются, ежели кто-то сих законов не знает или не исполняет!) Прошло немного дней по приезде, и губернатор псковский барон фон-Адеркас прислал грозную бумагу в Михайловское, в которой выказывалось возмущение, что ссыльный (отставной) 10-го класса Пушкин А. С., прежде, чем затвориться в деревне, не заехал к нему во Псков. Зачем? Среди распоряжений, письменных и устных, полученных им в Одессе при отъезде – вроде, ничего такого не значилось. Александр был огорчен и не скрывал. Не хватало еще одного доноса – чтоб быть послану, куда подале... С получением бумаги в доме воцарилось беспокойство и мрачное томление. Странней всех вел себя отец. Он вообще был странный человек и в некоторые минуты являл неожиданные черты. Так сейчас в него вселилась смелость. – Он ходил по дому, загадочно улыбаясь, и выражал всем видом, что, как глава семьи, принимает на себя ответственность в сложившихся обстоятельствах. Иногда он напевал под нос что-то вроде: «Противен мне род Пушкиных мятежный!..» – на мотив «Фрейшюца» – или еще какой-нибудь оперы. Александру он сказал прилюдно, что, как дворянин древнего рода, несомненно сыщет в себе силы защитить родного сына. – Вообще-то, Борис Антонович слывет, как порядочный человек! – говорил он вдруг успокоительно – верный обыкновению именовать высоких особ по имени-отчеству для-ради мысленного сужения дистанции... А Надежду Осиповну, мать, эта его нежданная храбрость всегда пугала. Она начинала вспоминать свои вины, и... хотя их, признаться, было не много... Храбрея, муж становился красив – породистой красотой стареющего льва, который вполне мог еще... Он был как раз в том развитии, физическом и нравственном. Кстати, его брат родной – Базиль, известный поэт, в свое время, развелся и сменил жену на дворовую деву! Обычно, среди таких мыслей – Надежда Осиповна старалась меньше мелькать по дому в старом капоре и с повязкой на лбу (вечная мигрень) и в засаленном халате; затворялась у себя и начинала терпеливо разглаживать морщинки перед зеркалом. Ольга страдала, смотрела мрачно – и после обеда сбежала в Тригорское – поплакать с подружками. Лев бродил в одиночестве, временами задумывался – но потом улыбался чему-то и насвистывал: он был молод, девки были в полях – и делать ему было решительно нечего.

В общем... на следующий день или через день от силы – возок, запряженный тремя чалыми небойкими михайловскими лошадами, катил по дороге на Псков. Ехали двое – отец и сын. Верх был отнят, светило солнце. Пахло догорающим или уже перегорающим летом... Дорога бежала полями, в которых шла вовсю уборка, лугами, где свирепствовал сенокос и рядами передвигались косцы, словно воинская цепь – свистели свежезаточенные косы, и крепконогие девки в цветных прожженных солнцем платках лихо скирдовали сено, подоткнувши юбки и светя на дорогу необъятными молочными ляжками (почти не загоревшими); косари застывали порой – вослед барской повозке, вздевая в небо косы: древко – в землю, лезвие над головой – картинная рама живописи, какая возникнет в России уже после Александра и его непрочного века – малые голландцы избяной деревенской Руси... вдоль яблоневых садов, сбегавших в деревнях прямо к дороге, и россыпью яблок – розовато-красных, налитых псковских яблок – свисавших, переваливаясь через редкозубые, покосившиеся, серые заборы, похожие на китайскую стену, которая, как известно, славилась своей недостроенностью: где есть, где и нет; где повален забор – а где – никогда не было. (Тогда спрашиваешь невольно – зачем?) Потом въезжаешь в лес – и выезжаешь из леса, и кони храпят, ощущая, как люди, тревожное дыхание дебрей и снов... Леса – необыкновенно разнообразны по составу деревьев: хвойный север перекрещивается чуть не с югом, во всяком разе – с юго-западом; мрачное сплетение узловатых ветвей, на каждом шагу являющее человеческие лики (лес, лешие), языческую дикость потопленных некогда русских богов... чащобы, манящие вглубь, в тесноту – суля встречу с бесами или с бабой-ягой, или с обыденными волками... тут, в сущности, начинаешь понимать, почему – именно здесь, в этих краях, на смену висложопому Пану или тоже деревенскому, бесстыжему и грубому, но все ж, с театральным изыском, аттическому Дионису (козья шкура на плечах – в зубах нежная виноградная гроздь) – пришли лешие и бабы-яги, простаки и плебеи – не взять в толк: то ли люди, то ли животные, то ли – и те, и другие вместе. Лары и пенаты, лары и пенаты – домашние боги.

Александр любил дорогу, и, вроде, привык к ней – слава Богу, успел проездиться по России, и, вместе с тем, дорога нагоняла непонятную грусть... Он сам не знал – почему. Вот это, на повороте, лицо крестьянина – неужели он больше не увидит его?.. Спросим – зачем?.. а с другой стороны... Это было как бы самой жизнью, ее промельком – и исчезновением. Его всегда смущала нищета вокруг. После южных краев – мазанок, беленых и светлых, во всяком случае, снаружи, после аккуратных ухоженных домиков немцев-колонистов и цветных, хотя и драных цыганских шатров, родина на каждом шагу обдавала нищетой и затхлостью. И какая-то бесцветность... В цветное, хотя и поблекшее уже, пиршество лета – вплеталось унылое серое человеческое жильё, серые заборы, серые лица и серые одежды. (*Почему у девок в деревне почти не загорают ноги?*)

Печальная страна! Он это ощущал уже в третий раз – в 17-м, когда впервые появился здесь после Лицея, – и в 19-м... когда приехал сюда один без родных и понял, что начался его путь по Руси. А теперь вот – сейчас...

Возок был узким – о двух скамьях, и отец и сын тряслись в нем визави – и оба старательно делали вид, что причина поездки их мало занимает.

– Но ты не волнуйся так уж!.. – кивнул отец ободряюще. Александр улыбнулся рассеянно. Его телега жизни сейчас катила под уклон, и он не хотел скрывать от себя сей мысли. Прекрасная нежная женщина лежала перед ним – он улыбался ей, как сказке, и знал, что она стоит того, что случилось после... Он, правда, больше, верно, не увидит ее... Хотя... кто знает? Надежда умирала, но хотела жить.

*...Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко там луна в сиянии восходит...
Там воздух напоен вечерней теплотой...*

– А это правда, что ты не веришь в Бога? – Мысль, явно смущавшая Сергея Львовича – но которую он не решался до сих пор обозначить вслух.
– Кто вам сказал? Почему?..
– Не знаю. А как же... а это письмо?..
– Вы в самом деле так думаете? – Александр рассмеялся. Ну, да. «Беру уроки афеизма...»
Но брать уроки еще не значит – следовать им!
– Но вы же сами, по-моему – ходили в вольтерьянцах? – поддразнил он отца. – А Вольтер был неверующим, как известно.
– То была его ошибка! – сказал отец с важностью и поджал губки. Поскольку сын смолчал, он продолжил... – Все мы стали верующими после пожара московского.
– Но я его не видел – пожара! Я был в Лицее.
– *Мой бронзовый мальчик!* (шептала женщина). *Мой бронзовый мальчик!..*
– И ты не бываешь у святого причастия? – спросил отец подозрительно.
– Редко. Зачем?..
– Что значит – зачем?..
– Не знаю. Талдычить пьяному попу про свои душевные недуги...
– Почему обязательно – пьяному?.. Ты говоришь вовсе не ему!..
– А-а!.. Вы в это верите?.. Не люблю посредников – между мной и Господом. В любой религии. Я, лично, хотел бы обойтись без посредников!

*Там воздух напоен вечерней теплотой...
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...*

– Что ты бормочешь? – спросил отец.
– Так... Бормочется! Все это – чепуха! – сказал Александр, помолчав. Уроки! афеизма!..
Я неточно выразился. Просто... у меня тогда возникли сомнения в загробной жизни!..
– А теперь... ты тоже сомневаешься?..
– Не знаю. И теперь сомневаюсь.
– *Ты сладко врешь!.. Солги мне! Солги! солги!..*

*...Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами...
Там под заветными скалами,
...печальна и одна...*

– С кем ты разговариваешь?..
– Я? С Богом! – он улыбнулся.
Ночевали в Острове – на постоялом дворе. Мучили клопы... Почему-то они взялись за отца, Александра почти не тронули. Отец ворочался, вздыхал, чертыхался...
– Почему тебя не кусают? – спросил отец тоскливо.
– Наверное... у вас вкусная кровь!..
– Клопиная страна! – ворчал отец. – Клопиная страна!
– Тише!.. – сказал сын. – Что вы! Как можно-с! В России – и у стен уши!.. – он рассмеялся. – Теперь вы понимаете – почему Клопшток – такой скучный поэт?..
– Твои насмешки!.. – бросил отец. Но все же уснул.
Где-то около двенадцатого часу на следующий день им ослепили глаза перекрещивающиеся, как молнии в воздухе, солнечные блики на куполах бесконечных церквей. Они въез-

жали во Псков. Отправив кучера с лошадьми на постоянный двор в центре и велев дожидаться – они вошли в губернаторский дом.

– Как прикажете доложить? – спросил чиновник в приемной – до странности похожий на всех российских чиновников. Подвид, выращенный в петровской кунсткамере – и лет на триста, примерно, без изменений. Без лица – одни прыщики на лбу. (*«Адский хотимчик!» – сказал бы жестокий Раевский.*)

– Доложите, друг мой... Помещики Пушкины – отец и сын! – сказал Сергей Львович с надменностью. И даже взял сына за руку, как бы, готовясь ввести в присутствие. Помещик Пушкин привел с собой сына-недоросля – проштрафивше гося в южных краях. Александр сдержал улыбку. Отец, конечно же, по-своему переживал случившееся с ним – но им было трудно понять друг друга. Чиновник исчез за дверью.

По мере приближения аудиенции Сергей Львович, кажется, терял свою смелость... Он то поднимал морщины на лбу – то стягивал их к бровям. Будто смотрелся в чье-то зеркало. Александр сидел прямо, уставившись в одну точку. Потом архивный юноша явился снова – склонил свой архивный пробор (*вся табель о рангах Петровская – в лице*) и, воссияв всеми прыщами (*дрочит бедняга!* – *сказал бы Раевский*) – отворил дверь к губернатору.

Адеркас оказался типичным прибалтийским немцем – длинный нос, сухие губы, бритые щеки – пергаментные – кажется, длинноногий: он лишь привстал им навстречу... Он чем-то напоминал Вигеля. Он сказал с любезностью, что рад, что господа Пушкины так быстро откликнулись на приглашение его. Чиновничьи погудки! Трудно было не откликнуться! Это называется – приглашение! Александр поклонился вежливо – а отец так и расплылся в улыбке, столь жалобной – что Александру стало грустно. Губернатор знаком предложил сесть – и он опустился на стул всем телом (впрочем, тело было небольшое, поджарое, много места не требовалось), а отец – на самый краешек – как полагается пред лицом начальства.

– *Они что – так и прожили жизнь – их поколение? так и пророджили?..* Губернатор выразил сожаление, что карьера молодого человека, столь удачно начавшаяся (интересно – в чем он видел удачу?) – так печально и неприятно оборвалась. Воспитанник императорского Лицея? Но... молодость, молодость! – все впереди, разумеется... Если... «Если» было многозначительным и не нуждалось в комментарии.

Сергей Львович сказал, что сын его, без сомнения, весьма сожалеет о случившемся. Сын сидел рядом и ни о чем не сожалел. Но вынужден был кивнуть. Фамилия губернатора настраивала на эпиграмматический лад... *Губернатор Адеркас – Получил такой приказ... безусловно был противник – Политических проказ. Рассказ... Напоказ... Додумывать не хотелось. Рифмы были не совсем каноничны: «с» – «з» – но звучали музыкально. Ах, вот – почти точная: «Адеркас – без прикрас»...*

– Филипп Осипович озаботил меня взять под личный контроль ваше возвращение под родительский кров! – было произнесено с важностью.

Александр поднял глаза на отца с вопросом. Губернатор пояснил:

– Маркиз Паулуччи. Генерал-губернатор.

У него тоже была эта несносная манера: называть начальство по имени-отчеству. Тот был его прямой начальник: Псковская губерния входила в состав земель остзейских – генерал-губернаторства Паулуччи.

Губернатор Адеркас – Не любитель выкрутас... Адеркас, Адеркас – м-м... садится в тарантас... А дальше поехало: «баркас», «бекас... (Черт с ним!) – О чем он говорит? А-а, да... кажется, его жена и дочери читали поэмку г-на Пушкина. (Именно так – поэмку! Что-то о фонтане-с.) Он сам (конечно) не читает стихов, но домашние его... (может, еще – Пегас?)... Сергей Львович осмелился сказать, что сын его опубликовал уже три поэмы, встреченные публикой весьма снисходительно. И множество стихов... Слово «снисходительно» взбесило Алек-

сандра – будь они прокляты, все вместе! – но он участвовал в игре, в которой держал банк не он.

В итоге Адеркас высказал мысль – он долго к ней приступался в разговоре – что не сомневается, что г-н Пушкин-младший, находясь в такой губернии, как Псковская, – и в обществе столь уважаемого родителя – не станет ни исповедовать, ни проповедовать афеизма. (Сочетание: «исповедовать» и «проповедовать» – явно понравилось – ему самому.)

На что Александр сказал, как естественное, что трудно проповедовать афеизм в местности, где столько церквей! Сергей Львович глянул на него с испугом.

Адеркас задумался – нет ли здесь насмешки, но, выдержав паузу, улыбнулся:

– Да, вы правы! Здесь все обращено к восславлению Господа! Псков гордится своими храмами!.. – его немецкие ноздри выгнулись почти чувственно.

– Должно быть, немец – но православный! – и оттого старается вдвойне – за себя и за своих лютеранских предков! Отмаливает грехи...

– Надеюсь, вы намерены здесь бывать на исповеди и у святого причастия! Вы выбрали уже духовного отца?..

– Да, – сказал Александр без всякой запинки. – Отец Ларивон. Наш батюшка – из Вороница. Почтенный пастырь. (Сергей Львович взглянул на него с любопытством – едва ли не со страхом. Когда он успел?) Александр назвал первое попавшееся – имя, слышанное от сестры. (*Пьяный поп? Ну, что ж! Это, пожалуй, то, что ему надо! Можно выпить вместе – и заодно исповедаться!*) Как редко когда бывало – ему захотелось выпить. Напиться. Тотчас. Чтоб не ощущать эту подлость в жилах. Безвластие – человека над самим собой.

– Почему кто-то должен мешаться в его взаимоотношения с Богом?.. Вообще... русский Бог – это, больше – Бог немцев! – мысль понравилась Александру, но, к сожалению, ее нельзя было высказать вслух, и он о ней забыл, как все мы забываем половину наших мыслей (и дай Бог – чтоб лишь половину!) – и очень обрадовался ей, как новой, когда несколько лет спустя она мелькнула в стихах Вяземского. (Стихи были – слишком умственные на вкус Александра – как, по секрету сказать – почти все у Вяземского – а сама идея – прелесть!)

– Отец Ларивон? – переспросил Адеркас. – М-м... Припоминаю. – Он знать не знал, разумеется, никакого Ларивона. – Но тотчас (недреманное око) – отметил про себя, что следует навести справки...

В итоге разговора он выразил надежду, что псковская земля, столь славная в российской истории – даст юному поэту (именно так!) богатый материал для патриотических мечтаний и новых вдохновений. Александр поблагодарил, поднялся и поспешно откланялся.

– Вы не будете в обиде – если я чуть задержу вашего батюшку? Дабы просто поболтать – как старым знакомым?..

Александр увидел в глазах отца то же жалобное выражение, и сам ощутил что-то жалкое в собственном лице.

– Ну, разумеется! – сказал он любезно. И лишь успел бросить отцу, что встретится с ним через пару часов на постоялом дворе. – Он знал, что отец еще собирался заглянуть к помещику Рокотову...

Адеркас слушал этот семейный обмен с сочувственной улыбкой. Он по должности стоял на страже устоев, а семья значилась в государственной табели одним из устоев. Александр вышел... Он знал наверное – там разговор пойдет о нем, но не хотел думать об этом.

*...по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами,
Там, под заветными скалами
Теперь она силит печальна и одна...*

Он пытался вернуться к стихам, начатым давеча, но фразы рассыпались. Разговор с Адеркасом вышиб из колеи. *Почему на Руси всякий чиновник имеет право тебя вышибить из колеи?*

Он пошел бродить по Пскову. С тех пор, как впервые, сразу после Лицея, увидел этот город – между ними установилась какая-то связь... Вообще, провинция (он понял давно), куда боле выражала вечное, чем столицы – столичная жизнь: все суетно, все непрочно. А здесь... как сто лет назад и двести, так же двигались в толпе монашествующие и миряне и только вблизи церквей и монастырей как бы разделялись – монахов прибавлялось откуда-то: они текли по тропинкам к храмам – шествие чернецов, как на старинных гравюрах – и можно было вполне представить себе эпоху Грозного или Годунова... так же тянулись возы с товарами, въезжавшие в город, перед лотками на улицах толкался торговый люд – и спешил ремесленный, с деревянными ящиками с инструментом – и с бородами, похожими на те, что некогда брил Петр – чуть не топором... и только купцы поважней про езжали в пролетках медленно, оглаживая нечто, уже ухоженное и подстриженное на европейский манер. Стыли у калиток замужние бабы в цветных платках и девицы (без платков) – оглядывая на случай прохожих... и лузгая бесконечные семечки... и прохожие сторонились неловко, в опаске, чтоб сбоку или сзади – на них не плюнули лузгой – нечаянно – не нарочно! потому что лузга – тоже было нечто вечное: просто бабы и девки в этих краях всегда стыли у калиток и грызли семечки, сплевывая под ноги кому-то – и в глазах у них всегда угадывалась тоска по несбывшемуся (или, может, не бывающему вовсе в жизни) и всезнание, что будет, опять же – через сто, через двести лет... что когда-нибудь так же – только *другие они* – будут стыть у калиток, разглядывая проходящих, сорить лузгой... альбо семечек эта земля рождала всегда куда больше – чем удачи, чем счастья.

При первой встрече ему показалось, что Псков напоминает ему Москву – всем златоглавым пиршеством куполов, – нет, не напоминал... Не только ж в силу различия московских колоколен и неподражаемых псковских звонниц? Странно! Он вырос в Москве – ну, конечно, только детство, – с тех пор – Петербург, Кавказ, Крым, Бессарабия, Одесса... но, верно, потому меньше всего способен был воспринимать Москву как «феатр исторический». (Он любил иногда произносить по карамзински – «феатр».) В Москве было много личного: мальчик, в одиночестве блуждавший полдня по большой, запутанной, неприбранной квартире – словно в поисках себя или внимания к себе... то ли в зимнем пальтишке с башлычком скатывавшийся на санках с горки в присутствии няньки или гувернера, рядом с такими же закутанными, заносчивыми барскими детьми, держащими за руку кого-то из взрослых, озирающими друг друга при встрече пристрастным взглядом – как породистые собаки на поводках у хозяев: кто – чей? кто кого?... От всей жизни в Москве у него не осталось почему-то – ни друзей, ни воспоминаний – что само по себе было воспоминаньем... (Он ощутит себя москвичом поздней.) По Пскову же он шел, будто листая тома Карамзина... – *Почему Шекспир мог изобразить в своих драмах войну Алой и Белой розы – чуть не всю старинную историю Англии? А мы не можем? Разве наша история не **феатр** трагедии? И наш Грозный не так же страшен, как Ричард?..*

Начинался обеденный час – и почтенные отцы семейств шли домой к обеду – и на пороги известных в городе домов, кои эти отцы семейств старались миновать быстрее, делая вид, что они им незнакомы (только краешком глаза, краешком глаза!) – выходили еще полусонные проститутки и тоже лузгали семечки: их время еще не наступало... Провинциальные дамы вливали в главные улицы под зонтиками от солнца (хоть солнце лишь смутно проглядывало сквозь легкие, но почти без просветов облака), – расплывшиеся – особенно в талии, и сильно напоминавшие бендерских (бессарабских) матрон – раскланивались по ходу со встречными из своего круга и откровенно оглядывали наскрозь всех прочих...

*...Никто ее любви небесной не достоин.
Неправда ль: ты одна... ты плачешь, я спокоен...*

Тут все обрывалось. Почти наверняка стихотворение не состоится у него. Все это было слишком близко к нему. Так редко что-нибудь выходило... *Прошла любовь – явилась муза...* – Только так, он был так устроен! И завидовал тем, кто мог исходить стихами, и чувствами одновременно... Ему всегда нужно было чуть отрешиться – нужна дистанция. – Он был силен тогда, когда нечто *общее* захватывало его – но сейчас он меньше всего хотел, чтоб чувство осталось позади.

– Нельзя так! Ты слишком нежен! Женщины погубят тебя!..

В перелесках на пути, несколько прореженных близостью города – и звавшихся по-городскому садами – прыгали по деревьям беззаботные белки...

...никто ее колен в забвенье не целует...

...мелькали их пышные хвосты, они не боялись людей и тоже с интересом оглядывали прохожих – почти как девки у калиток – почти человеческим, круглым выпуклым глазом – белку видишь только сбоку – лишь хвост и профиль, и глаз. А там – купеческие склады протягивались чуть не на целый квартал – да прямо – на целый! – и из их подвальных дыр без стеснения вылезали на свет жирные крысы – и не спеша, переваливаясь с боку на бок, пересекали дорогу тебе – спокойно и торжественно таща длинный хвост, – возможно, тоже прозревая свою вечность в мире. Похожи на белок, лишь хвосты потоньше.

*Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует,
Никто ее колен в забвенье не целует...*

Надежда, надежда! Почти рядом или поблизости, в редком лесу, а то – прямо на пустыре, – простые бабы мочились без стеснения, стоя, по-деревенски расставив ноги в широких побуревших ситцах, при этом лица их были серьезны и как бы отвлечены чем-то важным. Мужики старались для той же цели прибиться к дереву.

Он вдруг подумал, что во Пскове существует свой *домашний* Бог. (Не тот, что в Питере в Москве... не тот, что даже в Новгороде!). Даже названия церквей: Никола на Горке, Никола со Усохи... С усохшей речки, то бишь. (Попробуй так скажи: «со Усохи»!) Грустная, нищая, безрадостная! Но каков язык! Запсковье. Завеличье... «Со Усохи...». (*Насколько лучше сказать «замостье» – нежли «за мостом»!*) Почему республиканский Псков с такой охотой помогал Ивану III в сокрушении другой республики – Новгорода? Почему напившиеся крови псы Грозного остановились перед Псковом, и сам Иван вдруг потребовал милости к городу?.. В Новгороде пало до шестидесяти тысяч: побиты, потоплены... с женами, с детьми... Во Пскове опричники садятся за столы, уставленные яствами, накрытые прямо на улицах осторожным Токмаковым и прилежными горожанами – словно для встречи дорогих гостей. «...утрата воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых с умножением богатства, располагающего людей к наслаждениям мирным...»

А после – это мужество вдруг возникало вновь – и выдерживало много ме сячную осаду Баториеву. Что здесь разнится меж собой? Нашествие безумного Ивана с его опричниками – и Баторий?.. Свой царь, чужой король?.. «*Псков удержал до времени свои законы гражданские, ибо не оспаривал государевой власти отменить их...*» Александр взирал на нынешних горожан: сегодня они б тоже накрыли столы – с усердностью! «*Вольность спасается не серебром, но готовностью умереть за нее... кто откупается, тот признает свое бессилие и манит к себе властелина...*» Он хорошо читал Карамзина.

«Манит к себе властелина...» А может, на Руси редко дорожили свободой самой – или не придавали ей такого значения? То ли дело – когда грозит чужеземец?

Он оставит «Онегина»! Он не в силах сейчас писать о любви – она слишком в нем самом.

*Никто ее любви небесной не достоин.
Неправда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен...
Но если...*

На секунду показалось, что он жесток к ней – обрекая ее на одиночество. Женщина, подобная ей... Такое и желать бессмысленно! Им все равно больше не свидеться. Или не скоро. «Но если...» Все равно это «если» томило его и не давало покоя. Что может быть в этом «если»? А верней – *кто* может быть? Он стал мысленно перебирать всех, кого знал, кто мог быть сейчас подле нее. Ее окружение... (Странно – он не думал только о Воронцове! Муж есть муж – ничего не попишешь – и думать бессмысленно!) Раевский? Но он его друг – и он же и познакомил их. Даже можно сказать – толкнул друг к другу. (Зачем бы тогда?) И потом наблюдал насмешливо и жестко – как они бились в тенетах, не смея... стараясь скрыть... Свысока. С невыносимой улыбкой демона! Нет, не Раевский. А кто же? Их было много – жадных, улыбочивых... Тащившихся за ней в унынии и надежде. Вынюхивающих сзади с восторгом и вожделием – как кобеля, плетущиеся за своей... Почему она терпит это? Или втайне каждой женщине нужно, чтобы кто-то тянулся сзади?.. Шлейф. Даже самая лучшая. Нуждается. Он жадно выругался матом. Все равно этих слов в русском – ничем не заменить. Душный запах комнаты, где они провели несколько бессмертных часов, ударил ему в ноздри. Запах пота, любви и...

*Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни жадных уст, ни персей белоснежных...
Но если...*

– *И какое если вы имели в виду?* Пусть! Покуда он верит, что это так. Он верит!.. Пахнуло влагой и сыростью большой воды. Он прошел вдоль стены Крома и стал спускаться к Великой... Потом легко сбегал по берегу вниз. Как на каждом берегу, здесь загорали брошенные лодки. Бортами друг к другу или наискось. Высохшие, выцветшие, пересохшие – или с водой чуть-чуть на дне. С веслами, оставленными на сиденье, без весел. Дырявые – заткнутые кугой. Он сел в одну – в ту, что была с веслами – и поднял весла. Он плыл по берегу, работая веслами. То была его жизнь. «Свободы сеятель пустынный...» *Весла на воду! Весла на воду!*.. – Он рассмеялся. Великая была уже Невы – но величавей ее. Потому что текла, не втиснутая в гранитные гробы... Нева была истеричкой – по сравнению с ней. Вечно бурлила и страдала надрывно и наглядно. Великая текла в городе – но была *свободной* рекой. «*Вольность спасается готовностью умереть за нее...*» Он не мог спастись – он был окован. «*Ты ждал, ты звал... я был окован...*»

Какие-то строки словно приснились – и опять куда-то делись. (*Как всегда. – Надо бы записать!*) Он тоскливо огляделся. Округ утлые домишки свидетельство вали, что письменность еще не свила здесь гнезда. Разве – какая-нибудь бумажка незначащая. Спрятанная за образами. Иван Федоров еще не приходил сюда. Но все ж – здесь была какая-то тайна: Божья земля, тайна своего – домашнего Бога. Если была в самом деле какая-то идея у всей этой земли, верно, она сокрыта тут. Среди невысоких холмов, похожих на старинные могильники. Надо только отрыть – как старинный меч. Он не знал слов – «русская идея», придуманных позднее... Да и... вряд ли успел понять в жизни, что, если была эта идея – он сам был частью ее. Одной из ипостасей.

*Ты ждал, ты звал...я был окован...
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...*

Он усмехнулся мрачно. Сидит над рекой в дырявой лодке, на пустынном замусленном берегу – уткнув весла в землю. И сочиняет что-то – об океане. Российская судьба! Он смотрел на реку. Великая, величавая... *Река не пахнет – как море, река отдает лишь прелью и сыростью. (Может – историей?) Море пахнет солью и свежестью, и бегством. Даже от себя. Возможностью бежать.* Почему он подумал нынче оставить «Онегина»?.. Потому что любовь не улыбнулась ему. Улыбнулась – ненадолго. *«Могучей страстью очарован...»*

Но при чем тут – «Онегин»? При том! Надо сказать себе откровенно... Он не в силах написать письма Татьяны. Письмо женщины – к тому же, семнадцатилетней, к тому же влюбленной... Он стоит перед ним уже целую вечность. Когда нет крыльев взлететь... *«Она была девушка, она была влюблена...»* Это было б под силу разве Баратынскому! Тот бы смог... Письмо девушки... влюбленной. А он сам – мужчина, двадцати пяти – в возрасте, в опыте. «Ты слишком нежен – тебя погубит женщина!» Все равно! У него нет – этой детской нежности, никогда не было. Потому что мать не любила его. Где это он прочел? *«У меня не было первой любви – я сразу начал со второй...»* *А хорошо! – Какой-то средний французский роман.* Он и не помнит – своей первой любви...

Он стал вспоминать всех своих женщин – кроме той, единственной, что была там... В аккуратном немецком домике, на пороге разлуки. Он перебрал их терпеливо – одну за другой. Жажда разорить свою душу и встретить вечное. Ничего не было. Они бросались на постель – как на поле брани. И торопливо делились с ним – успевали поделиться – как муж их не умеет ничего. (Вы понимаете? Ты?..) Добро еще некоторые жаловались на обиды: муж лезет под юбку любой дворовой девке. Это походило на правду или... было лучше, чтоб походило. Особенно старались кишиневские матроны. Чиновницы. Они прилежно стонали для приличия и вместо «люблю» – шептали «молодец!» Их нежные южные усики подрагивали, как у мышей над кринкой со сметаной. «Молодцом!» – так офицер поощряет солдата.

И чувствуешь себя быком, которого берут на племя. (Испытывают – может, на бойню?) Где ему написать письмо Татьяны?

Он аккуратно положил весла, вылез из лодки и пошел берегом. Мимо таких же пустых лодок. Мимо реки, которая своим покоем и первобытной пустотой (одна ладья в отдалении нарушала ее вольготное движение) – дарила ощущение истории. Мимо стен псковского кремля – с выкрошенными камнями и нежной зеленью, кажется, росшей в самой глубине камней... И камни еще хранили следы баториевых стенобитных машин. Он обогнул кремль – теперь с другой стороны – достал из кармашка часы... О-о! Пора уже было встречаться с отцом. *Что ему там говорил губернатор? Впрочем, равно! О чем там писалось на берегу? Он начисто забыл. Что-то – про океан...* Только помнил это чувство несоответствия – мысли и реки, и старой лодки с бесполезными веслами.

Он поднялся в город, прошел каким-то леском, спугнув гимназиста и барышню, целовавшихся в кустиках – он усмехнулся свысока и поощрительно – как старший – и вскоре оказался перед церковью, названия которой не знал. Половина фасада была занята лесами – ее ремонтировали, но дверь была отперта – и он вошел. Внутри церкви тоже были леса до самого верху – под частью купола. Верно, дверь нечаянно чуть хлопнула при входе, и, когда он вошел – какие-то мужики, перегнувшись через перила, поглазели на него минуту-две с пустяшным любопытством и вернулись к делам. Тут, должно быть, восстанавливали роспись – судя по тому, что на открытой части купола она едва просматривалась. Но церковь явно действовала – дверца в алтарь была прикрыта – а не заперта, и свечи горели перед заново отделанным распятием в полукруглой нише. А сверху, сквозь дымку, может, полдюжины веков – на него взирали какие-то лица... С лесов же долетали негромкие голоса, разлетающиеся под куполом, и звуки скребок. Он вспомнил читанное где-то, во французской книге – как Микеланджело расписывал плафон Сикстинской – и как он лежал полдня до обеда – спиной на лесах, под самым куполом, –

глядя вверх, прямо перед собой – и то, что он писал – там, наверху – было вывернуто, выворочено, смотрелось, как уродство, – чтобы снизу всем виделся купол в истинных пропорциях – во всей красоте его... Он знал секрет пространства – и как меняются пропорции. Неужто эти простые мужики, что наверху – тоже знают секрет?.. Он подумал о них с симпатией – как о сотоварищах по цеху. *Ему тоже необходим в словах – секрет пространства!* Один из мужиков в это время снова перегнулся чрез перила – но потому уже, что жевал скибу ржаного.

Какой-то дьячок или просто монашек с пучком тонких свечей подошел к нему сзади, спросил: – Вы хотите исповедаться?..

– Нет, – сказал Александр, – благодарю! Как-нибудь, в другой раз!..

Монашек покинул его, кажется, тотчас потеряв интерес к нему. Вошел в алтарь и стал зажигать свечи.

В это время свет, текший сквозь окна-щели – чуть сместился ниже, и вершина купола, в той части, что еще была открыта взору – совсем ушла в тень – зато более осветилась нижняя часть... Он понял сюжет росписи. Обычный, в общем... Еванге листы сидят перед престолом Господа. Два здесь, снаружи – а два под леса ми... А там, в глубине, в тени, под спудом, напластованием – веков, страданий, смертей и смут, – верно, сам Господь. Лица евангелистов сейчас будто проступили для него, *явились* – и глаза их, темные, в черных от теней глазницах, устремились вниз и были обращены к нему. Само течение времен открывалось ему в своей наготе и беспредельности. Века позади, века впереди... И в этом видении была такая жизнь, что он вздрогнул.

– Я хочу исповедаться, – сказал он себе – но громко и отчетливо, словно бросая вызов. – Я хочу исповедаться – но только самому Богу!

И вдруг добавил – без всякой связи:

– *Бог – любовь! Для Татьяны любовь – это Бог! Письмо – исповедь!.. Исповедь!*

И почти задохнулся – от счастья...

Над изданным шатром в степи – вставала огромная луна.

Схолия¹

Задержка с сочинением «Письма Татьяны», верно, была в самом деле угрожающей. «Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения единства и правдоподобия в слогe: от страха сбиться на академическую оду»...² Автор, и впрямь, (в беловом варианте) романа «стоит» перед этим Письмом, не решаясь начать – на протяжении целых 10 строф (кстати, не все они – из лучших в романе! Да и обращение как бы за помощью к Баратынскому для гордого Пушкина достаточно показательно. – «Чтоб на волшебные напевы – Переложил ты страстной девы – Иноплеменные слова...»)

Набоков, полагает (следуя целиком «Хронологии» Б. Томашевского в издании 1937-го), что «строфы I–XXXI (кроме XXV) главы третьей, и, по-видимому, само «Письмо Татьяны» были написаны весной 1824 г., с 8 февраля по 31 мая в Одессе»³.. Скорей всего – это ошибка. Не говоря уже о реалиях «Письма» и особенно предвещающих сцен (сцена с няней) – вся стилистика Третьей главы куда более тяготеет к Четвертой, чем к Первой и Второй: если б «Письмо Татьяны» создавалось в Одессе весной 24-го – Вяземский не мог бы не знать о нем хотя бы понаслышке (через жену, которой предстояло увезти в Петербург Первую главу). «На левом поле черновика... набросок Татьяны – изящная фигура в задумчивой позе... темные волосы спадают на обнаженное плечо... (ночная сцена романа – Б. Г.). Ниже... легко узнаваемый про-

¹ **Схолия** – позднейший комментарий исследователей периода эллинизма (так называемых, **схолистов**) к древним греческим текстам.

² «Московский Телеграф». 1827, № 13 – то есть, еще при жизни Пушкина. По книге В. Вересаев. Пушкин в жизни. – Собр. соч. Т. 2. С. 234.

³ Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 70.

филь отца» – его-то Пушкин уж точно не стал бы рисовать *до* Михайловского. «Под последней строкой исправленного черновика Пушкин делает следующую приписку: «5 сентября 1824 u.l.d. EW». Это расшифровывается, как... «eu lettre de Elise Worontzow» – явный след письма Воронцовой. Пушкин соединил оба инициала в монограмму, известную по подписям Елизаветы Ксаверьевны.»⁴

Почти несомненно, «Письмо Татьяны» создавалось в Михайловском. «Брат увез «Онегина» в Петербург и там его напечатает». И далее в письме к Вяземскому о самом тексте «послания Тани»: «если, впрочем, смысл и не совсем точен – тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!..» Тут же – о княгине Вере Вяземской:

«Не кланяюсь, а поклоняюсь ей». И уже – после даты на письме, в финале: «Знаешь ли ты мою «Телегу жизни»?

«Хоть тяжело подчас в ней бремя...»⁵ (Далее – все стихотворение).

И в этом авторском постскриптуме – ключ к «Онегину».

VII

А какие воспоминания роскошествовали в нем! Он поедал их за завтраком – с утренним кофе, что готовила Арина (никакого сравнения, конечно, с тем, что варят турки в кофейнях на одесском берегу или даже татары на берегу крымском), смачно хрустя необыкновенно здоровыми белыми зубами о корочку поджаренных хлебцев, намазанных деревенским медом – под строгим на всякий случай взглядом Сергея Львовича, который сам неизвестно о чем думал сей момент – может, тоже предавался воспоминаниям? (хлебцы, были б, пожалуй, и совсем ничего, если б не поостывшие – почему их надо всегда подавать остывшими? – Александра вечно мучила загадка его дома, какой-то редкостной неумелости в нем, неслаженности... – все не как у людей! а остывшие жареные хлебцы – все равно, что остывшая женщина! грустно!). Им – воспоминаньям то бишь – можно было предаваться в одиноких прогулках неухоженным парком, походившим на лес, или лесом, похожим на парк, а то берегом Сороти, засаженным унылыми кустиками... можно было упиваться, отходя ко сну, и уже ныряя в сон – лежа с открытыми глазами, и глядя в пустоту округ себя – в чужом доме, который все-таки почитался своим...

Будь славен юг за то, что одарил меня воспоминаниями!.. Он был в чем-то язычник – и готов был славить юг, как Бога!

«...любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского»... Об историю этой поездки с Раевскими на Кавказ, после в Крым – летом 1820-го – иступлено столько бойких перьев, что, право, страх снова браться за нее. С младшим сыном генерала – Николаем Николаевичем-младшим, тоже военным – Александр сдружился еще в Петербурге. Потому нет ничего удивительного – что, найдя его в Екатеринославе, в горячке – (см. Схолию) – Раевские отпросили его у Инзова – два генерала быстро договорились – и потащили с собой; Раевский путешествовал большой семьей – ну, с частью семьи... с Николаем, двумя младшими дочерьми, их гувернанткой и нянькой; были еще компаньонка Анна Ивановна, док-

⁴ Там же. С. 333–334.

⁵ Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка; Ямицк лихой, седое время Везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу; Мы рады голову сломать И, презирая лень и негу, Кричим: пошел!.. Но в полдень нет уж той отваги Порастрашало нас; нам страшней И косогоры, и овраги; Кричим: полегче, дуралей! Катит по-прежнему телега; Под вечер мы привыкли к ней И дремля едем до ночлега, А время гонит лошадей. *Пушкин А. С.* Полное собр. соч. в 10 тт. – Здесь и далее все тексты Пушкина даны по этому изданию и по академическому полному соб. соч. 1937–1946 гг. и переизданию 1996 г. (изд-во «Воскресенье»).

тор и гувернер-француз. Старший сын должен был встретить их на минеральных водах, жена и две старшие дочери ожидали в Крыму*.

В дневнике, который Александр вел в поездке и сжег в Михайловском в некий момент вместе с собственными записками, – об этом в свое время – почти наверняка были записи, вроде...

В коляске – больной. – Кубань – казаки. – Выздоровление. – Горы (впервые). О генерале: в экипаже с Н. Н., история вблизи. Переход по Военно-Грузинской (оказия). – Пятигорск. – Бешту, Машук, горячие ключи. – Калмыцкие ванны (серные). – Знакомство с А. Раевским. – Морем в Крым. Корвет «Або». На палубе: «Погасло дневное светило» (элегия). – Юрзуф. Семья в сборе. – Дом. – Дочери Раевского. И где-то ближе к концу длинного списка: Кипарис. А. И. – Берег. Мария-подросток. – Странное...

О генерале... «Я не видел в нем героя, славу русского оружия, я в нем любил человека...» – писал он позже брату и лгал невольно – то ли ему, то ли себе... потому что это было первое прямое столкновение его, Александра, с историей – и он искал как раз в генерале человека исторического. И сердился иногда – что не находил. Он хотел зреть героя Фермопил и гомерические страсти, ведущие к гомерическим подвигам. Но, видя поутру человека в домашнем халате, отдающего ровным тоном вполне домашние распоряжения – трудно верилось, что слова «батарея Раевского» уже вошли в историю вместе с полем Куликовым и Ледовой битвой Невского. И что этим самым голосом, в июле 1812-го, отдавались приказания арьергарду под Дашковкой, который должен был малыми силами (всего что-то около десятка тысяч бойцов) сдерживать сорокатысячный корпус маршала Мортье, дабы силы Баркляя и Багратиона могли соединиться. Александр лишь много после поймет, что исторический миг вершат совсем другие люди – исторические, которым случайно дано выйти ненадолго из берегов собственной обыденности на встречу с Неведомым. И что этот миг может вовсе не предвещать ничего в их будущей жизни или не объяснять ничего – в их прошедшей.

О доме... Чувство дома, семьи... Александр понял, что прежде не знал этого чувства. Было странно вообще – как может возникать *чувство дома* в поездке, на колесах в пространстве – но оказалось, оно существовало! Александр еще в коляске ощутил себя *дома*. Как ощущали явно все другие участники «милой кавалькады», как они называли. (Годы спустя, когда он начнет строить собственный дом – он неосознанно – попытается создавать дом Раевских.) Прошло немного времени их поездки – и слуги уже все знали про него, что на постое, в селеньях – он не любит выходить к завтраку, а пишет, сидя в кровати... и подавали ему кофий в постель – хоть он их об этом и не просил. И в доме в эти часы как-то само собой делалось тише обычного, потому что... Покуда он с тоской отмечал про себя, что сам не создан для блаженства. Его удел оставаться бездомным. (Ну, правда, ну, какой дом может создать человек – или можно создать с человеком, который с утра не выходит к завтраку, потому что поутру, голый, пишет в постели?..). Он вскоре перестал дивиться тому, что кучерам всегда бывает ведомо, где надо остановиться в пути на обед... и когда барам надо справить туалетные надобности. Что слуги не бродят с утра нечесаными – не ведая, чем себя занять, так как их बारे – тоже этого не знают.

Сначала он считал, что – военный крой генерала Раевского тут делает погоду – но после понял, что погоду делала вся семья. Чувство семьи. Просто – как люди взирают друг на друга. Жена преклонялась перед мужем – он был главной скрипкой в ее оркестре – но на этой скрипке умело играла она сама... Оттого сочувствие и понимание – постепенно передавались всем – гостю, то есть, ему, Александру, гостям, – а слугам и кучерам – подавно; он стал привыкать, что не слышит по утрам повышенного тона и не видит недовольных взглядов, и, странно, в семье вовсе нет мигреней. Софья Алексевна передала почти всем детям некую смуглоту и остроту взгляда черных нерусских глаз, а некоторым – греческую строгость носа, начинающегося где-то у лба – почти без переносья. (Это будет потом в рисунках Александра!) Мать ее была русской и

дочерью Ломоносова, но отец – чистый грек, библиотекарь при Екатерине. У нее и в пятьдесят была фигура – как мало у кого бывает в двадцать, и в этом все дочери без сомненья пошли в нее... В Александре она с охотой брала участие – потому что ее муж брал в нем участие. В ней была надменность – которую она по возможности скрывала.

Но все это было уже в Юрзуфе, где съехалась вся семья...

Горы... На Кавказе он впервые в жизни увидел мир, который словно формился на глазах, уступами. Ступени бытия. Я восхожу – по ступеням бытия. Где-то там, в вышине, возможно, был Ноев ковчег и приют самого Бога. Поздоровевший Александр мог взять коня и ехать рядом с коляской с барышнями, покачиваясь в седле и давая полюбоваться собой. Он имел среди прочего «наездническое самолюбие»: как все мужчины небольшого роста – в седле он ощущал себя кавалергардских статей. Когда он так гарцевал рядом с коляской девочек – самая младшая, Софья, улыбалась, грозила пальчиком в окно, напоминая об осторожности – он ехал, полуобернувшись, глядя на дам, а вовсе не на дорогу; Мария – что постарше – почему-то хмурилась, стараясь показать, что это не имеет отношения к ней: смотрела в сторону или делала вид, что читает. Зато гувернантка м-ль Маттен и компаньонка Анна Ивановна – весьма оживлялись его присутствием. Женщинам их положения все, что оставалось – это надежда на счастливую встречу, и Александр явно развлекал их собой. Порой они с Николаем-младшим отделялись от кавалькады и уезжали вперед, взбираясь по склонам – испытывая тонкими ногами коней ненадежность горных троп. И, как бывает только в молодости – страх смерти бился в груди отчаянной радостью – и был сильней жажды жизни. *«Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов...»* К сожалению, отъезжать далеко генерал не позволял: давно отвоеванные – горы все еще были опасны. Абреки – чеченцы и кабардинцы – сторожили одиноких путников... По Военно-Грузинской генералу придали казачий отряд с пушкой (это зовется «оказией»)... Пятигорск привел Александра в восторг. Пятихолмный Бешту – и дальше... длинная цепь седых гор, нетающий снег в вышине – и жар в воздухе. Снег чистейший – такой белый – до синевы. Синий цвет вечности. И горячие ключи калмыцких ванн, кои вылечили его от лихорадки. Как всякий русский – он любил бани... и потом, чтоб что-то вовсе холодное – будь то пиво или клюквенный морс или снег. Любил пар, пышущий от камней, и собственное нагое тело – красное с пылу, с жару – и в прилепившихся мокрых листьях от веника. – А над палатками жарких не в меру калмыцких ванн в высоте стлы снега. Пока ты погружаешься в палатке в воду – все горячее – полуголые калмыки стоят наготове с прохладными полотенцами. Они так стояли с полотенцами над ним, когда под навесом явился некто – изрядного роста, худой, в очках – чем-то напоминавший и генерала, и Николая-младшего, и двух девочек – только чем-то и неуловимо отличный ото всех... И сказал ему – томящемуся почти в кипятке – чуть надменно:

– Вы, Александр? Я слышал о вас. Я – Раевский – и тоже Александр! (Присел на корточки и протянул руку куда-то в воду.) Это был старший сын генерала и старший брат остальных. Александр не знал, разумеется, не понял сразу, что вошла его судьба. На какой-то срок – во всяком случае...

С кавказких вод – до Тамани, столицы древнего Тмутараканского царства – что в анналах российских – так же смутно, как Платонова Атлантида, и так же пугает своим непонятным исчезновением. Немного лет спустя на этом высоком берегу Тамани, в казацкой беленой хате – с другим поэтом произойдет некая «историйка», что станет одним из знамений русской литературы – и обессмертит этот берег. Но пока, пока... *«С полуострова Таманя открылись мне берега Крыма...»* В Крым перебирались морем – на корвете «Або». – Сперва через залив в Керчь... *«Прекрасны вы, брега Тавриды – Когда вас видишь с корабля...»* Александр чаял увидеть развалины древней Пантикапеи. *«Вообразенью край священный – С Атридом спорил там Пилад – Там закололся Митридат...»* – но не нашел ничего. Обломки камней сомнительной древности – три века, тридцать веков?..

Тут он ощутил время. Как оно быстро слизывает наши грешные следы. *Интересно, что останется от нашего с вами бытия – и какому взору, волнуемому развалинами, оно предстанет некогда?..* От Пантикапеи мимо стен древней Кафы (у Пушкина поче му-то «Кефа»). *«Отчего, однако, воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов и поглотило наименование Кафы, которая громка во стольких летописях европейских и восточных?»* – удивлялся после один из современников. В Юрзуф прибыли на рассвете... Ночью, на корабле он сочинил элегию... «Погасло дневное светило...» И понял, что взял еще одну высоту. До сих пор на Руси элегии удавались лишь Батюшкову. Можно было подумать, что русский вообще – не элегический язык. «Глагол времен – металла звон...» невольно заглушал терпкую тоску, элегическое мерцание чувства. Где Батюшков теперь? Верно, все в Италии. Поклонник Тасса в стране Тасса. Года два назад они всем арзамасским братством шумно и пьяно провожали его в Италию. (О болезни Батюшкова Александр еще не знал.)

В Юрзуф прибыли на рассвете...

Дочери... Здесь их стало четверо, и лишь самая младшая была совсем ребенок. Позже станут говорить, что он был влюблен решительно во всех – кроме нее. Но и это – неправда: просто ему нравилось казаться влюбленным, и всем нравилось видеть его таковым. Он охотно играл в эту общую игру. На самом деле – шла пора выбора, и в этом выборе он познавал себя. Кто знает себя в двадцать лет? Все прекрасно. Жизнь прекрасна. Все юные девы прекрасны. Только... что-то словно держит тебя за рукав, подсказывая: главное еще за поворотом. И ты не в силах влюбиться – и не в силах, паче – объясниться в любви, ибо ты еще не встретил... Ее? – спросит некто недалекий; как бы не так – себя, милостисдарь, себя! – а ее само собой, она еще где-то в воздухе... Как запах цветов – разлитой кругом – но цветов не видно. Как раз счастье этой поездки состояло в том, что взгляд его ни на ком не останавливался окончательно – и он ни в кого по-настоящему не был влюблен. Единение, скорей, с миром – чем с женщиной. *«...прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море...»* И прелестные девушки – как часть – природы или воображенья? Свет, море, горы... и улыбки, и нежность во взорах... и губы, готовые раскрыться – но это... может, завтра утром? через день, через два?... и ямочки на щеках, ямочки на щеках... походка, Боже мой! (походки), три поступи жизни... блаженство наблюдать жизнь, преследовать ее взглядом – не вмешиваясь в нее до поры, а только согреваясь внутренне самим ее существованием. Меж тем, девушки были на диво хороши. Впервые в этой семье он испытал чувство осторожности с женщинами. Страх что-то испортить – наследить в чьей-то душе, в семье – раньше несвойственный ему...

«Скажи, которая Татьяна?» – На это не так просто ответить: он был «под сенью девушек в цвету». Их была стайка – как век спустя на пляже, в Бальбеке. Они рознились меж собой и их единила только младость. (Когда он поймет – что *вечная к ней рифма – «радость»* – исчезнет вместе с ней, когда...)

Екатерина была царственна. Елена – печальна и нежна. Мария была странной...

Екатерина благоволила к нему. Она занималась с ним английским. Они играли в серсо, бегали взапуски по пляжу – или прогуливались чинно над водами и совершали невысокие восхождения в горы. Он любил, поднимаясь за ней, следить восторженным взглядом ее картинную фигуру – на фоне гор или моря она выглядела особенно восхитительной, как бы смело вторгаясь в простор и явно украшая его собой. (Как у матери, Софьи Алексевны – у нее была *лебединая шея*, как это называлось, и осанка – смертельная для нашего брата.) С ней было интересно болтать, она много читала – уже восхищалась его стихами, а восхищение ими в мире еще только начиналось, и это было ценно для него... Но... она была старше его года на два... и в ее глазах, весьма милых и даже добрых – была такая сокрушительная уверенность в том, что все, что дано ей судьбой, должно быть оплачено каким-то особым жизненным предназначением – что даже взор, демонстрировавший явное расположение к нему – уходил куда-то вдаль, сквозь него, в то будущее, где, без сомненья, его не было. Похоже, все в доме разделяли

эту ее уверенность – в предназначении. К ней уже сватались неоднократно – граф N. и еще какой-то граф... им было отказано – и эти отказы в семье громко и с интересом обсуждались. Александру вряд ли было место на этом полотне... Она была властна по характеру – а таких женщин он побаивался. Они естественно были друзьями...

Елена была прекрасна. Она считалась в семье самой красивой. Может, так оно и было. У ней была чахотка. Это ради нее с Кавказа переехали в Крым – Кавказ, помненько врачей был ей не слишком показан. Нет, сейчас еще болезнь не была в той страшной стадии, когда остается ждать самого худшего. Елена была бодра, порой весела – а страдала тихо, по-русски. Иногда на щеках ее появлялся этот злой румянец – всем известный, и она прикладывала ладони к щекам – и мучилась собой – не физически, больше нравственно, стесняясь себя; когда сухой острый кашель ее прерывал веселый общий разговор или нежный тет-а-тет, она выскальзывала из комнаты, бормоча что-то невнятное. *«Как это объяснить? Мне нравится она – Как, вероятно, вам чахоточая дева – Порою нравится...»* – напишет он позднее, сознаваясь в любви к осени и, вероятно, к ней, к Елене. Вероятно. Бесконечная печаль сжатых полей – и бесконечно яркий цвет желтых кленов. Цвет прекрасный, рожденный, чтоб увянуть на утренней заре. От холода, от жара... Болезнь – в которой мрачный холод сочетается с жаром. Елена втайне переводила стихи – с английского (на французский, естественно), но не верила в себя в этом смысле, как и в свою женскую судьбу – и безжалостно выбрасывала в окно черновики. Он нашел их однажды, подобрал и с тех пор аккуратно подбирал под ее окнами и складывал. Переводы были негладки – но яркие и талантливы. Он сказал об этом ей – она зарделась, и непонятно было – это смущение или та же болезнь. Он помнил себя совсем недавно – в коляске, на пути на Кавказ – беспомощным и больным. Но теперь он выздоровел. Он не мог с ней – как с Екатериной, как с другими – подниматься в горы или бродить вечером над морем. Сырость! Она уходила обычно в дом. Они занимали несколько домиков недалеко от берега – в татарской деревушке под Юрзуфом. И Юрзуф была тоже – татарская деревня, только поболее. И домик его был почти над самой водой, а ее – в глубине, как можно дальше от берега. Жениться на Елене? Нельзя сказать, чтоб эта мысль – не приходила ему в голову. Манящая прелесть вечного заката! Заботиться о ней, читать ей стихи – вечером у камелька... Возить ее в Крым, а если, дай Бог, по средствам – так в Италию...

(Флоренцию он хотел посетить более – чем Венецию и Рим. То была Дантова страна. Он верил в ад и рай – только Дантов!) Почему-то, в присутствии ее, как-то сами собой возникали разговоры об Италии. Она слушала молча, улыбалась – и прикладывала ладони к щекам. Но элегия сия казалась ему слишком сентиментальной.

Однажды она призналась ему: – Если б вы знали, как я люблю бегать по воде наперегонки с волнами! (*Вдохнула.*) Но я никогда не бегала!..

Хотелось пасть на колени перед ней – целовать ее руки и лодыжки, так жаждавшие прикосновения прохладной воды – и просить прощения. За что? За собственное здоровье? Но... скажем прямо – он был слишком здоров – для этой любви. Он слишком любил толстые тяжелые палки для прогулок (свинчатка в рукояти – чтоб тяжесть в руке), и толстые ляжки деревенских баб, и прогулки над водой и под дождем, во всякую пору, и вечный хмель от опасности (*«ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению»*): любая угроза жизни – ударяла ему в голову, как крепкое вино. (Может, потому – он так, до конца никогда и не поверил в серьезность этой угрозы?)

Как-то, на берегу – он увидел в глазах ее слезы и поцеловал руку, лежавшую на спинке высокого шезлонга. Она отдернула – почти грубо. Потом испугалась – и протянула обе руки. Он почтительно склонился к одной – потом к другой.

– Не шутите со мной, – сказала она, – со мною нельзя шутить!..

Он улыбнулся растерянно и жалко. Елена Прекрасная – расцветенная румянцем чахотки! (Она пережила его на целых двенадцать лет, так и не вышла замуж, и умерла – в той самой Италии.)

А Татьяна явилась в его жизнь внезапно... В сонме чувств и мыслей, неведомых ране – или которых он не ожидал от себя. (Позже он думал не раз, что если б не эта случайность – «Онегин» его, может, вовсе б не был написан. – Или написан не так. Впрочем...)

Это было в Юрзуфе. Вообще все главное было в Юрзуфе!..

Его дом был ближе всего к воде. У дома рос кипарис. Он был настолько высок и величествен – что с ним тянуло поздороваться при встрече. Библейское дерево, выращенное Господом для пророка Ионы, чтоб спасти его от зноя. «И сделал Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло...» Иногда поутру, пред встречей с кипарисом, тревожило чувство – а не исчез ли он за ночь? Свеча, воткнутая в небо. Ее оставалось только возжечь. – Тот самый Иона, которого Бог держал сперва взаперти, во чреве кита. Левиафана. За что Он так наказывал бедного Иону? За отказ от посланничества. Впервые, пожалуй, в Юрзуфе пришла эта мысль в голову. Он был не просто брошен в мир – но чтоб возжечь свечу... Посланничество, посланник. Он был талантливый юноша – все привыкли к его таланту – и более всех он сам. И вдруг эта мысль, что все может исчезнуть однажды, если... Откуда ему знать – что будет, тогда?.. Если талант его шел за ним по пятам и диктовал свои условия. В Юрзуфе он впервые ощутил не только свой дар – но *предназначение*. Не думайте, что его это обрадовало: скорей, рассердило. Это была тягота. Он не любил быть кому-то обязанным (или чему-то). И стихи до сих пор были просто жизнь, которая пела в нем.

Утром, пока семья Раевских спала – и он не ждал никого встретить – он сбегал к воде. Плавал он не слишком хорошо – и потому, уйдя на более или менее безопасное расстояние – разворачивался в воде и плыл вдоль берега. Медленно... Вода успокаивала его. Ему казалось, она способна зализывать раны. И души в том числе? С воды мир на берегу мнился совсем иным, чем с берега. Александр плыл равномерно – и плыло время. Дома словно рисовались на пыльной поверхности неба и красновато-коричневато-зеленоватом фоне гор. Люди двигались плавно и тихо. Между ним и греком, который входил в эти воды лет этак две тыщи назад – в сущности, почти не было временного разрыва. Они вполне могли повстречаться в воде.

...Ночами приходила А. И. То есть, Анна Ивановна. Он часто так и звал ее – А. И. («*Аи любовнице подобен – Блестящей ветреной живой – И своенравной и пустой...*») Но тут все было иначе.) Не каждую ночь, но приходила. Конечно, тайком – когда все спали в соседних домах... Иногда она бросала на ходу днем: – Сегодня я обещала барышням сопровождать их в баню. Или: – Софья Алексевна едет в Алупку, я – с ней. Мы поздно вернемся... – И тогда они не виделись.

То был странный роман. Может, самый странный из его романов доселе... От него не требовалось никаких слов. И она сама ни о чем не говорила. Она была татарка. Он впервые в жизни столкнулся с восточной женщиной – с непонятным уделом и редкой молчаливостью. О себе, о чувствах, о жизни... Она не жаловалась и не страдала – то есть, внешне. Ее узкое тело подчинялось беззвучно, как стекло устам стеклодува. Лишь отливаясь по форме, какая предлагалась ей... Ее темперамент был выражением покорности – согласия, но не страсти. Все было смутно в этой молодой и привлекательной женщине с чуть с косинкой черными, как нефть, глазами – в сущности, небольшими, больше спрятанными в глазных впадинах, чем освещающими их (они звали куда-то во тьму – на глубину) – и тонкими выразительными губами. Складка печали, складка нежности? Однажды после близости она вдруг сказала: – Вы – король любви! Вам это говорили?.. – Александр был молод, и ему хотелось продолжения: было ощущение сломанного льда. Но она тут же заговорила о другом – тем же тоном, о чем-то вовсе обыденном. Само ее место в доме Раевского было не совсем понятно. Верно, она была вдовой одного из его офицеров – или дочерью погибшего, после – чьей-то вдовой?.. Возможно,

с ней была связана какая-то тайна семьи. О муже она никогда не распространялась. И как-то не давала повода спрашивать... Он знал, что она была прежде любовницей старшего из братьев Раевских – Александра. Но она никогда не говорила и о нем. Почему сошлись? почему расстались? любила, не любила? Поскольку Раевский – старший брат – с некоторых пор занял или стал занимать особое место и в жизни, и в душе его самого, Александра, ему бы хотелось узнать что-то подробней. – Так верный ученик, чая лучше понять учителя, незаметно для себя становится любовником его жены – или бывшей возлюбленной... Но женщина упорно молчала и об этом. И о том, что было теперь у них с Александром, тоже никто не знал. Разве что – генерал. При всей его простоте и отсутствии (наружном) всякой загадочности – его взгляд иногда исподтишка демонстрировал тайное знание – более, чем какой-нибудь другой. Может, потому, что ему как воину и герою – была введена тайна самой смерти? В данном случае он ничем, разумеется, не выказывал своего знания. Может, вообще Александру почудилось. На людях он и А. И. вели себя со сторонней любезностью...

Но был день, когда он заметил, что за ними следят. Чей-то пристальный взгляд стал беззастенчиво нарушать их, ставший привычным за две недели тет-а-тет на людях. Когда вокруг много глаз и взоров – например, за завтраком, не так просто понять – чей именно взор вдруг уходит в сторону, когда ты поднимаешь глаза, за секунду перед тем ощутив его на себе. Сперва он грешил на Елену... Болезненный взгляд? Когда собирались все вместе – он подозрительно оглядывал ее. Обводил всех глазами, пытаясь подловить, но... Взгляд остался неуловим – только он ощущал его на себе. Дня через два или три, ночью, войдя к нему и раздеваясь неспешно – А. И. сказала так же свободно, как отлетали одежды в стороны, отстегивались подвязки и расшнуровывался корсаж... – Поздравляю! Вы умудрились похитить сердце Марии! Бедное дитя! Она следит за нами!.. Теперь берегитесь! – добавила она, освобождая бедра от белых панталон с кружавчиками на коленях.

И добавила с женским злоречьем – в сущности, свойственным всем женщинам: – Я вам не завидую!

Мария? Если б ему сказали – кто угодно... не говоря уже про двух старших барышень... даже маленькая Софи – он, право б, меньше удивился. Мария?.. Мария была нескладный и недобрый подросток. Когда он видел ее мельком в Киеве, заехав к ним, еще перед Екатеринославом – у нее еще не вывелись прыщи, свойственные определенному возрасту. Во всяком случае – оставались следы. На лбу и на подбородке, переходя на щеку, что было особенно некрасиво. – Щека внизу была почти испещрена – такими маленькими шрамами. Александр не помнил, как они исчезли с лица, и были ли они еще в Екатеринославе. (Он мало обращал на нее внимания.) Во всяком случае, поездка пошла ей на пользу. – Солнце, горный воздух... Она начинала выправляться внешне – хоть все равно – все было нескладно: ноги длинней обычного, почти от спины, руки тоже длинные – и как-то врозь... Осиная талия ее была от худобы. (Все расплзлось, никакого единства в образе. Как она сама выбивалась из ряда в общем-то дружной семьи.) Только глаза – мамины, греческие, большие и печальные – что-то скрашивали. Конечно, когда не злилась. – А злилась она часто. И все оставалась – заносчивой и несносной. Когда он верхом подъезжал к коляске, в которой ехала она – а, видит Бог, он был недурной наездник... и кроме того, молодой человек в седле – а тут – солнце, лето, вершины, обрывы, и сердце бьется в упоенье решительно у всех и неважно отчего, – все дамы отвечали благодарно на его выходки и даже не совсем удачные остроумия... маленькая Софи так и заходила смехом, дамы – гувернантка и А. И. – тоже смеялись и кокетливо грозили пальчиками в окно... Мария отворачивалась – иль, напротив, упрямо глядела в упор – не отрываясь, и без улыбки. Всем видом осуждая – неизвестно кого и за что. А то вдруг... Когда он решал отправиться в горы с Екатериной – или с Анной Ивановной, и, в общем-то, вовсе не желал свидетелей, она увязывалась за ними и упорно мешала всем легким амурничаньям своим жестким взглядом и самим своим присутствием. – Ужасный характер! Александр догадывался, что это – возраст...

и какое-то тайное недоверие к себе – или неверие в себя? – Среди красавиц-сестер... Но под ее взорами становилось не по себе... Когда все сидели вечером – за столом в саду, мужчины с позволения дам – курили трубки, чтоб отгонять комаров, и Александр что-то рассказывал такое – и все внимали, а он уж стал привыкать, что ему *внимают* – она могла так спокойненько подняться и сказать: – Ну, ладно, я пошла... становится прохладно... и по том, я боюсь, скоро будет скучно! – и уходила. И все переглядывались в неловкости. Она дерзила решительно всем, и даже отцу, на что не решался никто в семье. И странно... великий воин не сердился на нее – и только смолкал. Исторический человек был тут вне истории – и в глазах его было лишь беспокойство за нее. Она явно невзлюбила Александра с тех пор, как он появился в семье, и всю поездку почти преследовала своей неприязнью. Однажды, когда все так в растерянности глядели ей вслед – Александр отметил про себя, что у нее рождается походка. На него всегда действовала необыкновенно именно походка женщины. (Что, в свой час, его и сгубило.)

Вечерело. Он вышел на брег. Закат надвигался сбоку – с моря и постепенно охватывал горы полукругом. К камням набегали волны прибоя. – Волны были невысокие – но бурные. Морем не пахло почти – только душным небом. Гроза висела в воздухе уже второй день и никак не могла пролиться дождем. Все ходили унылые, как вороны. Ворон на берегу было много. Они отличались задумчивостью. Ему не писалось уже дня три. Был потерян мотив. «*Я потерял свой мотив...*» Он бродил «под сенью девушек» и болтал всякие глупости. Он ощутил, что задержался здесь. Его невольный отпуск кончался – а что дальше? Он грыз ногти, и его грызли сомнения. Он презирал себя. Вдали белелся одинокий парус... («Белеет парус одинокий...» – он мог бы это написать, но не написал – напишет другой.) Он ступал по камням – переступал – стараясь попасть с плоского камня на плоский, стараясь избегать острых, бросая вперед тяжелую трость для прогулок. Крымские камни в отличие от кавказских – вызывали ощущение развалин ушедших веков. Таврида дышала жаром и историей. «*С Атридом спорил там Пилат – Там закололся Митридат...*» Стрелка овечьего помета стелила ему путь. – Недавно тут проводили овец. *Почему козий бог Дионис – деревенщина, смерд – сумел затмить Аполлона?* Жрец Аполлона – Александр не выносил Диониса, но втайне ему завидовал. Почему к нему, а не кому другому – восходит трагедия древних греков? Трагедия, «козлиная песнь». «*Песни козлов*»... Чертов смерд – Дионис. (*Впрочем, Аполлон был тоже хорош – велел заживо содрать шкуру с музыканта Марсия. Который решил бросить ему вызов в игре на кифаре.* – Про себя Александр считал, что и сам способен бросить вызов Аполлону.) Вдалеке на море был белый парус, а на берегу, вдали – маленькая фигурка девушки. (Наверное, девушка – уж слишком тонка, худа!) Она там, верно, играла с волнами. Какая-нибудь служаночка резвится в отсутствие господ – подражает госпоже. Отсюда было видно, как ее юбки вздымались весело и открыто. Но и на пляже было пусто. Он еще приблизился и узнал Марию. Бесстыдница! Мать бы ей задала за такую игру! – Он невольно улыбнулся собственному ханжеству. И вдруг понял... она не просто воюет с волнами – она танцует. И в этом танце ее есть некий смысл. Она кружилась пред волнами, задирая юбки и, склоняя головку – то вправо, то влево, то назад, то вперед, – и что-то там видела такое, доступное только ей. Кажется, она смотрела на свои ноги. Придирчиво. И что-то воображала такое – про себя или о себе. И о чем-то мечтала... А мечта не могла не тронуть Александра. Он загляделся. И понял, что вдруг проникся ритмом ее танца. Услышал дальнюю музыку – словно музыку сфер. Зонт мечты, поднятый ею, раскрылся и над ним. Ее худенькие ножки еще детские – уже взрослые – были необыкновенно высоки и нежны, как бывают только побеги несорванных цветов и были влажны, как лепестки после дождя. Он почувствовал укол беззащитной нежности. Ее ноги были почти прозрачны на фоне моря. Почти сливались с водой. Что это? Зачем? Неужели их, эти ноги – будет кто-нибудь (посмеет) когда-нибудь разбрасывать в стороны, рвать... грубо... безжалостно... пьяный гусар – после очередной попойки? Или это и есть – женская судьба? Странно! Эта мысль никогда прежде не тревожила его! Он сознал себя чудовищем. Грубым мужланом. Ему стало

стыдно впервые – своей мужской сути. Своей густой плоти – вечной жадности до наслаждений. Сгущенная плоть. Бугор под штанами. Только и держи ноги под столом! Утешитель шлюх. Он проснется в борделе – и умрет в борделе. Ему не суждено познать истину блаженной нежности и чистоты. Он задохнулся счастьем – и презрением к себе. Что она танцевала сейчас? Танец был дикий и несмирный – как предчувствие жизни. На заднем плане – за ней вставала белая луна раннего вечера и полоска заката на горизонте стекала по ее цыплячьей шее.

Она вдруг остановилась в танце – и опустила юбки – не до конца: набегала вода...

– Вы подсматривали за мной, – сказала она. – Это нехорошо!..

– Нет, – возразил он, – нет!

– Нет, вы подсматривали!

Он снова возразил: – Да нет, нет! Отступил на шаг – и тотчас надвинулся... сделал шаг к ней – или два шага.

Он стоял чуть выше – каменистый склон – и видел ее лодыжки и ступни в воде – необыкновенно тонкие, узкие и длинные – тоже почти прозрачные, на просвет. Словно продолженные светом. Как в зеркале. Они излучали свет – и камень под ними тоже светился, как под ликом святого.

– Это дурно, – повторила она, почему-то задумчиво (а так ли это?).

– Нет, – повторил он. – Нет! Я... я любовался, – едва выдавил он, краснея.

– Не верю! Вы влюблены во всех!

– Кто вам сказал?..

– Все так думают о вас! Я безутешна!..

– Это неправда! – сказал он.

– А Анна Ивановна? – спросила она.

– Это неправда! – повторил он не слишком убедительно. (Ведь знает, что правда!)

Он был виноват перед этой девушкой-ребенком. За всю свою жизнь *до* – бессмысленную и нескладную. За свои пошлые романы. За грехи всех мужчин на свете.

– Я вам не верю! – она покачала головой. Явно желая поверить. В глазах ее стыли две слезы. Сама его *муза* стояла перед ним – четырнадцати лет отроду. Погрузив в воду прозрачные ступни и приподняв юбки. А он путался и лгал. Музе? И страдал от собственной лжи...

– *Papa* не отдаст меня за вас! – сказала она, подумав... – Но, может... если вы очень попросите... Он вас любит!..

– Подождите немного! Я попрошу!.. – Александр не узнал собственного голоса. Голос был отдельно – душа отдельно.

– Нет. Он не отдаст, – сказала она с грустной уверенностью детей. – Он захочет меня выдать за старого толстого генерала. – Она надула щеки пытаясь изобразить этого самого генерала. И провела рукой округ бедер – отчего ее платье с одного боку опустилось в воду.

– Вы замочили платье! – сказал он, обрадовавшись, что можно переменить разговор.

– Я вижу!.. – но платье так и осталось в воде, и волна ласкала его.

Что он должен был делать? Пасть на колени перед ней?

– Погодите! – только и смог выдавить он. – Еще есть время! – он сам не знал, что значит это обещание.

– Но вы можете меня увезти! Тайком!.. Ведь часто девиц увозят тайком!.. – она улыбнулась – мечтательно и грустно...

Он поклонился неловко и двинулся вдоль берега – прочь, прочь – только чтоб бежать – от нее, от себя, от этих слов и ступней, от этого ощущения судьбы – своей, ее? – с лилово-красной полоской вдоль горизонта. Он вспомнил, что ни разу почти за весь разговор – не поглядел ей в глаза.

В последующие дни она избегала его – и только. Он заметил лишь, что исчезли ее испытующие взгляды за столом. Они оба старались не глядеть друг на друга. Он был рад, что у А. И.

как раз начались регулы и не надобно было ничего объяснять. Было сладко хранить верность девочке с бездонными ступнями, которые светились в воде. Он засыпал и просыпался – один и счастливый.

Они увидятся в последний раз в Москве, в декабре 1826-го, в доме ее невестки, княгини Зинаиды Волконской – музы бедного Веневитинова. Мария будет отправляться в Сибирь вслед за мужем-каторжником. Но об этом после.

Дня через три-четыре он покинул Юрзуф, принял предложение генерала сопровождать его в поездке через горы, верхом – через Крымский хребет: генерал путешествовал с младшим сыном. Старший сын генерала не составил им компании. Во-первых, у него были больные ноги, а во-вторых... Он являл откровенный скепсис по отношению к столь романтическому путешествию.

Александр согласился с охотой... В молодости мы не сознаем, что теряем – в уверенности, что новые впечатления легко заменят нам прежние. Так было – так будет! Они взяли коней и отправились. С А. И. он простился почти в молчании, оба пробормотали что-то про грядущую встречу, зная прекрасно, что она не состоится. Мария проводила их спокойно и как бы безучастно.

Глаза ее, как часто прежде – смотрели куда-то в сторону – и Бог знает, что еще хотели высмотреть там...

«Я помню море пред грозой – Как я завидовал волнам – Бегущим бурной чередой – С любовью лечь к ее ногам...»

Так возникло имя Мария – в его жизни. Скорей, титул, знак... А как явилось в параллель имя Татьяна – он не мог вспомнить.

Схолия

* Говорить о «южной ссылке» Пушкина – как-то зазорно – нам, ведавшим иные судьбы поэтов в ином веке. По жизни речь шла лишь о переводе по службе в одну из южных губерний – тем же чином. (Чин был небольшой.) Канцелярия Инзова находилась в те дни в Екатеринославе, но когда путешествие с Раевскими кончалось – Александру пришлось догонять ее уже в Кишиневе: Инзова за это время перевели с повышением, сделав наместником Бессарабии.

** Читатель, может, примет за недостаток воображения автора этих строк, то, что дважды, в разных обстоятельствах (и с разными персонажами) рисуется эта сцена игры с волнами. Конечно, придумать можно и лучше. Но... Во-первых, «такое бегание наперегонки с волнами было в ту пору модным развлечением» (Набоков⁶. – Он даже находит подтверждения тому у Шатобриана.) – Известно, что однажды в Одессе, во время подобной игры на берегу, Пушкина и двух его сопутниц – Вяземскую и Воронцову порядком окатило волнами. Пришлось всем срочно ехать домой переодеваться. Во-вторых, эта сцена. На наш взгляд, тоже претендует на то, чтоб считаться неким зачином романа (см. строфы XXXIII – XXXIV Первой главы «Онегина»: «Я помню море пред грозой...» – О смысле этих строк вообще движении романа Пушкина дальше). Что касается «поисков реальной женщины, к которой подошел бы этот «хрустальный башмачок», то, у Набокова достаточно пылкую поддержку имеют по меньшей мере четыре «прототипа»⁷. Но, начав с «наиболее правдоподобной кандидатки – Марии Раевской», он почему-то в итоге отказывается от нее и склоняется к мысли, что «одна из ножек принадлежит Екатерине Раевской, а другая – Елизавете Воронцовой» (забавный вариант!), Гумберт Гумберт явно не видит здесь Лолиты XIX столетия. – Никак нельзя представить себе, что это впечатление поэта было от взрослой замужней женщины (даже любимой). Кстати, поздние воспоминанья самой Марии Николаевны Волконской (Раевской) об этом эпизоде так же мало

⁶ Набоков В. Указ. соч. С. 166.

⁷ Там же. С. 157.

походят на истину – и по месту действия, и по обстоятельствам! (Ах, эти наши воспоминанья – тусклая проза усталых людей, и где ей до правды стихов!)

Как бы ни была красива Воронцова – она была уже достаточно полной, дородной женщиной. Да и про Екатерину Раевскую Пушкин бросил мимоходом, имея в виду Марину Мнишек: «собою презиридна (вроде Екатерины Орловой)» (та была уже Орловой)⁸.? Ну и конечно, в финале: «*А та, с которой образован – Татьяна милый идеал – О, много, много рок отъял...*»⁹

XXXIII строфа активно напоминает нам (и мы постарались, чтоб описанная сцена так же напоминала) – кадр из «Древа желания» – гениального фильма Т. Абуладзе: узкие, необыкновенно нежные ступни девушки в прозрачной неглубокой воде... с освещенными солнцем камнями под водой. «*По вашим узеньким следам – О, ножки, полно заблуждаться! – С изменной юности моей – Пора мне сделаться умней...*» – поздней зазвучит в главе Пятой. «*Узенькие следы*» – несомненно образ девичий.

VIII

– Езжайте! – говорил ему Раевский Александр на прощанье – тоном, каким отпускают грехи. – Вы увидите массу интересного. Бахчисарай, «Фонтан слез»... (И улыбался загадочно.)

– Там есть гробница любимой ханской наложницы... Дилары-Бик, Бич... что-то в этом роде. Эти восточные имена!.. (Поморщился по-европейски.) Говорят, она была европейкой и христианкой. Еще некий фонтан засохший и вроде – ей посвященный. Вы сможете заразиться новыми вдохновениями!.. – слово «вдохновенье» в его устах всегда звучало названием дурной болезни. – Это как раз для вас! Там, по-моему, гидом – местный полицмейстер!

Интересно... Что сказал бы он, если б узнал – про ту сцену на берегу? Про чувство, вдруг вспыхнувшее к девочке? К его младшей сестре?..

Кстати – сколько ей лет? Хоть уже стукнуло четырнадцать?..

Мысли незаметно перебрались – с сестры на брата. Он только в пути понял, что рад был, хоть на время, расстаться с ним. Их дружба возникла почти сразу, на водах с чистого листа – почти без начала, с середины... Он и прежде привык испытывать влияние. Более того, он любил влияние. – Дружба с молодых ногтей – была его, может, единственной религией. А в дружбе нельзя не испытывать влияния. *Влияние, вливание...* Ему нравилось просыпаться поутру, ощущая себя иным – от случайно вечером услышанной чьей-то фразы. «*Только дураки не меняются...*» – говорил он часто, а думал еще чаще. Он любил меняться. Он был пчелой, умевшей собирать свой мед с самых разнообразных цветов – и всюду находить именно *свой*, необходимый ему. Уж так был устроен его хоботок... Протей? Ну что ж... протей! Он не стеснялся – и, напротив, иногда гордился. Он любил сбрасывать шкуру. Когда шкура менялась – он чувствовал, как в жилах тоже просыпается иная кровь. С Раевским Александром было другое... Раевский был власть. Какую он ощутил почти сразу – и не мог понять: она радует его или страшит?.. С Раевским он стал узнавать себя *другого*, какого не знал раньше. И не был уверен – что этот другой нравится ему. Он открывал в себе черты странные... Привыкший с ранней юности к похвалам и признанию друзей – он, оказывается, совершенно не мог перенести – чтоб выражали неверие в него – хоть в чем-то. И страдал почти физически. И готов был чем угодно доказывать свою состоятельность. Даже ценой унижения, даже заискиваньем. Он впервые, минутами, правда, но ощущал некую сладость рабства.

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. X. С. 146.

⁹ Письмо Александра Раевского к Пушкину в Михайловское из Белой церкви, в котором он именует Е. Воронцову «Татьяной», ровно ни о чем не говорит, кроме как о неловкой «конспирации»... Кстати, письмо свидетельствует, что отправитель мог быть знаком со Второй главой романа, даже с началом Третьей – с какими-то набросками – но совсем не о том, что знаком был с «Письмом Татьяны».

Раевский Александр был росту выше среднего, ногу (правую) порой чуть приволакивал – она была у него больная... и в байроническую пору в таком приволакивании был свой шарм... за толстыми стеклами очков были темные материнские глаза, очень внимательные – и не то, чтоб большие, нет! – но с какою-то мрачностью, какая редко давала возможность заподозрить их в теплоте... зато сразу обращала на них внимание – так, будто они и выделялись более всего на худощавом лице... впрочем, это было оттого, что он умел подолгу смотреть на собеседника – прямо и, вместе, отрешенно; его европейский – греческий нос естественно свидетельствовал гордыню... Вся внешность его обличала человека необыкновенного.

Раевский сумел – всего за несколько дней, неделю – заронить в него что-то такое-этакое – сомнение в правильности жизни, какую он вел раньше – или в ее ценности. Внушить, что он вырос в некоем полупризрачном мире, полном романтического хлама... (Раевский так и произносил с выраженьем – *«романтический хлам!»*) Это, якобы, засорило его, Александра Пушкина, воображение – и мешает ему видеть жизнь в ее истинном свете. (Попутно делался намек, что сие может остановить его в поэзии, к которой он, Пушкин, *как будто, склонен!*... – именно так и говорилось: *«как будто»*.) Раевский упорно нажимал, с самого начала, на те самые клавиши, какие мы привыкли прятать под крышечкой клавиатура, будто и под крышечкой видел – где они находятся. И эта игра на спрятанных клавишах была болезненна для Александра и, вместе, странно привлекала его... Все, что Раевский предрекал – почему-то оказывалось правдой, и это удивляло... А предрекал он по большей части – что-нибудь дурное или неприятное. (Много после Александр понял, что так – куда проще: чаще сбывается – уж так устроена жизнь – так куда легче прослыть пророком.)

Он спохватился, что отстал. (Генерал с Николаем так же остановились где-то вдалеке, оглядывая местность.) Проезжали мимо маленькой татарской деревушки, вившейся по склону горы. На вид – здесь мало что изменилось – со времен древних греков. С двух сторон от домов, по желобам стекали нечистоты, и только запах относил ветром в сторону... А рядом с деревней уходил в гору чудесный виноградник. Что за вино мы пьем в этой жизни? И как оно смешано с ее отходами?... *Всякое вино бытия таит в себе нечистоту – или как-то перемешано с ней!*.. Между белыми мазанками с низкими крышами торчали груды мусора. Среди этих куч мелькали там и сям замызганные черноглазые ребятишки. Те, что поменьше – вовсе без штанов. Он мог бы родиться в такой деревушке. Ходить в детстве без штанов. И никогда не слышать стихов. Не знать даже имени – Тасса или Овидия. *Ужасно! Или... может, так лучше?..* Каждый рождается в свой час, в своем месте. И уходит в свой час. Пушкин вряд ли родился б в этой деревушке – родился б кто-то другой. А значит, и чувства были б иные... *Что лучше? Без конца искушаться жизнью – или вовсе не подозревать об ее искушениях?* Он снова предсказал – что сказал бы Раевский на этот руссоистский пейзаж... Посмеялся б его, Александра, бредням? В очередной раз лягнул бы Руссо?

Теперь он сам нуждался постоянно – в приеме иронического зелья... Как спасительный укол больному.

Однажды, уже в Юрзуфе, Александр в мягкой форме попенял Раевскому-тезке на его очевидную резкость в обращении с матерью, Софьей Алексеевной. В ответ получил целую отповедь – изумившую его...

– Ну да... – сказал Раевский. – И вы начнете упрекать меня в сыновней неблагодарности – как мои милые сестрицы. За что я должен испытывать признательность? Разве я просился на свет? Я, верно, прежде озабочился бы узнать, что это такое – и, уверяю вас – вряд ли б согласился! Сомнительный подарок! Если учесть вдобавок, что даже счастье жизни – неминуемо влечет за собой страх смерти...

Я уже не говорю про девять месяцев лежания в темной утробе, в сырости – и в мрачной неизвестности – что из этого выйдет. (Он поморщился, будто отведал лимона.) Мне с детства кажется, я помню это тоскливое положение – и оно вызывает у меня дрожь. Вам известен

каламбур – как один зародыш, в утробе – спрашивает другого: – Как по-твоему? Там, за этим самым рождением – еще есть жизнь? – Что ты, – отвечает другой, – оттуда ж никто не возвращался!

В другой раз он попытался развить ту же тему еще открытей и беспощадней...

– Бросьте, Пушкин! Не знаю, как вы – я – дитя любви! Моя матушка по сей день любит отца, как кошка! Сиречь... акт моего зачатия никак не мог быть не приятен для обоих. Напротив... он наверняка доставил естественное удовольствие обеим сторонам. Воспитание и скромность не позволяют мне представлять себе подробности... Простите за откровенность! М-м... Моя благодарность? – вопрос тает сам собой! Кроме того... все родители на свете стремятся иметь детей из эгоистической склонности: во что бы то ни стало встретить в них продолжение свое. И очень тоскуют, если это продолжение – не чудится им схожим.

Что это было? Власть... да, именно – власть! чего-то более прочного и более органичного, чем он сам!.. – сейчас, в дороге, мимо осевшей на склоне татарской дереvушки, – эта мысль о чьей-то власти над ним впервые показалась неприятна ему. Он вспомнил, как в Юрзуфе слышал нечаянно обрывок разговора генерала с Николаем-младшим: – Александр так огорчает меня своей холодностью!.. (речь шла о старшем сыне). – С появлением Александра-гостя естественно разговор прервался. *Как было сказано? «Огорчает» или «страшит»?*

Неужто этот стиль, эта бесконечная отвага ума – в прозрених и отрицаниих – были лишь холодностью сердца? – он терялся в раздумье.

Раевского Александра раздражала даже слава его семьи. Он не терпел Жуковского. «Певец во стане русских воинов» существовал для него лишь как повод для издевок. «Среди прочего это – плохие стихи! – говорил он. – И хуже того – плохие чувства!»

– Бедный отец! Его посвятили в римляне, хотя он сам не пошел дальше древнего грека, женившись на гречанке!

– *«Раевский, слава наших дней – Хвала! Перед рядами – Он первый грудь против мечей – С отважными сынами...»* Жуковский, кажется, ваш друг? Скажите ему, что это – полная глупость! Во-первых, непосредственно в бою нас не было – ни меня, ни брата. В самом деле. Отец действовал под Дашковкой славно. Хотите звать его героем? Охотно допускаю. Только... Никаких сыновей он в бой не выводил. Это петербургский анекдот. Вы не представляете – сколько в то время долетало анекдотов с полей сражений до столичных болтунов, не нюхавших пороху – но зато с восторгом мусоливших все, что доходило до них – на ходу все изменяя и перевирая. Мне шел семнадцатый год, и я был уже здоровый верзила – как отец мой мог поднять меня на руки? Да – еще шествуя во главе войска, да еще вместе с братом – хоть тот был поменьше. Хотите правду? Отец вообще отослал меня с поля боя – под каким-то предлогом. Кажется, с донесением – кое, впрочем, никому не было нужно. А братец Николай в это время в лесу собирал ягоды. Долетевшая пуля пробила ему панталончики. А если совсем руку на сердце... никто не поймет, зачем нас отец вообще брал с собой в это сражение. Я как воин тогда еще ничего не стоил, брат – тем паче. Разве чтоб пощекотать нервы нашей матушки – очередной раз, либо очередной раз испытать ее любовь. Она, конечно, безумно волновалась... Она ж не знала еще, что я, как никто другой из детей – вовсе не оправдаю ее надежд! Ах, если бы меня убило под Дашковкой! Как бы меня вспоминали! Такой чудный мальчик! Надежда семьи! Верный продолжатель отцовской славы!..

...и при этом смеялся – каким-то, чуть не утробным смехом. Так смеются маски на столичном балу, чтобы тотчас раствориться в толпе. (Нечто демоническое?)

Александр – который Пушкин – лишь после поймет, что... Впрочем, об этом дале. Мы не знаем – где он едет сейчас. Среди горных кряжей, где сухой красноватый цвет камней сливается невольно с рыжеватым руном овечьих стад на камнях (Крым) – или по лесной дороге, где мокрые деревья при первом же ветерке щедро осыпают его каплями прошедшего дождя (Михайловское). Мы знаем только – что он вспоминает... И что духовный облик Раевского-старшего –

сына, разумеется – отложился в нем настолько властно и прочно, что на какой-то момент стал мешать его собственному *эго*... или даже мешаться с ним.

К стихам Раевский относился заранее подозрительно. Как? Самое нужное слово – или самое важное – может быть заменено другим, если не в рифму или не входит в размер?.. Это так же искусственно, как в опере, где обычные слова почему-то должны выпеваться. Смешно и только! – Самое интересное, что Пушкин почти соглашался с ним. С ним бывало трудно не соглашаться. Обычные вещи – и достаточно спорные – принимали в его устах некий совсем уж непререкаемый вид. И после его слов казалось странно, что кто-то мог думать иначе. Стихи самого Александра Раевский не хвалил, а как бы *принимал*. Он не переносил чтения стихов вслух – то есть, чтоб ему читали (он твердил, что поэты чтением украшают собственные вирши) – и всегда читал сам, и Александр с трепетом ждал его суда. Приходя в гости к Александру (если предстояло чтение) – Раевский падал на койку хозяина, всегда на спину, и ждал, а Александр подносил ему листки – и тот читал лежа, вздернув тонкие длинные ноги в брюках со штрипками, в темных ажурных носках – и, чаще, заложив ноги – одна за другую. Так что сами эти ноги торчали в воздухе – и были уже важнее стихов.

Однажды... это было много позднее, в Одессе – когда Александр сочинил уж свой «Фонтан» – поэму, которую ждал особенный успех, Раевский, как всегда, появился у него и, узнав, что предстоит знакомство с чем-то новым, возлег на кушетку и протянул руку – словно за неизбежной данью. Нельзя сказать – читал он серьезно, не пробегая глазами – но погружаясь в чтение... Очки застывали в эти минуты на его холеном удлинённом носу... Вдруг он рассмеялся. Смех был жесткий, колючий, долгий...

– Хотел бы узнать, что так насмешило вас? – спросил Александр, бледнея и теряя голос...

– Да вот тут у вас один пассаж! – Раевский небрежно ткнул пятерней в рукопись. – Никогда не читывал подобной чуши!.. – и еще посмеялся всласть. Но видя вытянутую физиономию автора...

– Тут у вас говорится... «Он часто в сечах роковых – Подъе́млет саблю, и с размаха – Недвижим остается вдруг, – Глядит с безумием вокруг...» – как вы это себе представляете? Вы не были никогда в бою. А вам приходит шальная мысль описывать сражение, да еще сабельное! Наиболее тяжкое. Да если б ваш Гирей – или как там его – на секунду задумался и остановился... – он рассмеялся коротко и почти с жалостью к поэту.

– В бою – паче, сабельном... вам не снести головы – ежли вы не снесете ее кому-то другому! А «оставаться недвижимым», «шептать» что-то... И как это можно – «глядеть с безумием» – не объясните? Вы совсем не знаете жизни, мой друг! Вы гадаете об ней! М-м... Не всегда удачно!

Александр вдруг расхохотался сам – легко и беспечно, согласился без споров. *Ну, правда! Конечно, все так. Только... Стихи есть стихи. Им вовсе необязательно прямое сходство с жизнью...* – И оставил все как есть.

– Да пусть себе! – бросил он с небрежностью. – Да пусть себе!.. – на том все и кончилось.

Зато, как Александр (повторим, порядком избалованный к этому времени собственным талантом и согласным «признаний хором») радовался – если на какие-то из его стихов Раевский, так вот, валяясь на кушетке – бросал через губу: – А это – ничего... пожалуй, неплохо!..

И странно! Чем неприятней было временами какое-то из высказываний Раевского – Александр сознавал, что рвется услышать это снова...

Еще таинственней для него – а тайну мы всегда тщимся разгадать, уж так мы устроены люди, – было отношение Раевского к женщинам. Как-то, еще на водах – в самом начале их знакомства – они повстречали у источников даму, которая понравилась обоим, и они несколько дней невольны и терпеливо высматривали ее среди других представителей «водяного общества», – красивую, породистую с необыкновенной осанкой, словно сошедшую с картины мастеров болонской школы, и откровенно пытались обратить ее внимание на себя – особенно, Алек-

сандр – он был моложе... – Но взгляд ее скользил вдоль прочих лиц настолько рассеянно, что казалось, не родилось еще человека, на ком бы он мог задержаться... Раевскому это быстро прискучило,

– А вы представьте ее на судне! – шепнул он Александру. Сиречь, на урыльнике... И все пройдет!.. – У него это звалось: «Немного говна в душу – извините!» – и Александр улыбался – жалкой улыбкой.

Раевский не говорил, к примеру, просто: – Пушкин, идемте в баню! – но беспрерывно что-то этакое: – Как по-вашему – нам не пора уже с вами омыть свои грехи?..

Александр сам побаивался или не любил – пустого трепетания словес в обыденной речи (что так принято в свете). Высоких слов или символов, которые ничего не значили. И, хоть он не был никак по-настоящему религиозен – слово «грех» для него имело свой смысл – звучало как именно «*грех*». А здесь он должен был безмолвно принять легкость – с какой входят в обращение самые, что ни есть, весомые слова.

Эти походы в баню были чем-то мучительны для Александра. – Хоть он не рисковал в этом признаться.

Он от природы был застенчив и часто скрывал это от себя. Не с женщинами, нет – с мужчинами. Слуг это не касалось. Он был барин по природе – и слуги – что мужчины, что женщины – не вызывали в нем стеснительности. Арина могла спокойно намывать его в бане – и он бестрепетно поворачивал к ней то одну часть своего естества, то другую. И видел, что Арина откровенно любит его – как собственным рукодельем, что ли?.. Если б на месте ее была прислуга более молодая – он, верно, вел бы себя так же. В турецких банях, в калмыцких – он охотно подставлял себя чужому полуголому банщику... Но с мужчинами своего круга... Во-первых, он смертельно боялся бардашей – так именовали мужеложцев. А во-вторых... Нет-нет, он от природы был отлично скроен, несмотря на малый рост, и сознавал это. Но он знал эту дурную привычку мужчин – многих, почти всех – вести в бане как бы сравнительный анализ... Своих мужских статей – и статей кого-то другого. И это сравнивание – еще с Лицея – откровенно смущало его. (Чувство, какое свойственно мужчинам – но они стараются не признаваться в том – и даже себе.) Так вот, с Раевским почему-то он ощущал особую неловкость. Ему даже казалось – тот отлично сознает эту его слабость и в охотку ее эксплуатирует, получая какое-то странное удовольствие. То ли любясь втайне собственным – выше среднего ростом, то ли...

У него был большой член – ну, не то, чтоб непомерный – но, правда, большой. Так что было непонятно, что там может еще вытягиваться, если нужно. Даже крайняя плоть не вовсе облекала его...

– Меня принимают за обрезанца! – жиды или мусульманы!.. Как вам нравится?

Он смеялся с достоинством: – И это еще не все! Еще с треть примерно в нутрецо ушло!.. – Он любил русский язык и со вкусом пользовался им. В том числе словами не частого употребления, особенно в свете. (Он вообще являл способности к языкам.) Слово «*нутрецо*» он произносил с особым вкусом.

Однажды на бале в Одессе, когда Александр с особым удовольствием молодости глядел на танцующих (чуть не с полуоткрытым ртом), на переполненную залу – отличая только женщин, естественно, и находился весь во власти – ярких красок одежд, и драгоценностей, и лиц, и тел – и его трудно было отвлечь от сего счастливого занятия – Раевский наклонился вдруг и шепнул в самое ухо:

– Как по-вашему, если б я сейчас выложил *его* на стол – ко мне б испытали уваженье?..

Александр вздрогнул, как пойманный птенец – раздражился и бросил почти неприязненно: – В вас какой-то фаллический бонапартизм! – Вам не кажется?..

И Раевский растерялся несколько – от такого отпора – кажется, впервые.

– Да, пожалуй! – сказал он задумчиво и как-то рассеянно. – Пожалуй! – и тотчас усмехнулся: – Фаллический бонапартизм? Это хорошо! Сами придумали?..

Как-то он сказал: – Вы счастливцы! Вы малорослы! Ну... небольшого роста! Сие дает вам фору – супротив любого из нас. Почему-с? Да потому что малорослые обладают безмерным честолюбием.

Не замечали? Их главный козырь – честолюбие. Они способны опередить кого угодно, ибо лишь честолюбие – движитель обществ и армий. И лишь оно способно пробить коросту человеческого равнодушия и природных слабостей. Что лучше? Больше честолюбия и меньше способностей – или наоборот? Я выбираю первый вариант. Не для себя, конечно! За меня выбрал Бог. Но вы... вы далеко пойдете! Возьмите Бонапарта!.. – ну и так далее.

Ярый бонапартист, хотя и на него лег отсвет славы отца, добытой именно в войне с Бонапартом – он разглагольствовал нередко:

– Вы все не понимаете, какую роль сыграл Наполеон в изменении самого духа века!.. Вы были юны тогда. Война 12-го года и прочее – все это не имеет значения, сравнительно с тем, что юный артиллерийский поручик... он был всего поручиком? безродный, итальяшка... одною силой ума и воли смог стать императором французов и на какой-то момент, достаточно продолжительный – повелителем целой Европы. Пред кем склонили выи владыки древних династий. Пред кем дрожали некогда победоносные армии. Это ли не победа личности над властью и родовыми привилегиями? Победа духа над силой и окаменевшими традициями?.. Он сделал больше, чем ваш Байрон, для укрепления человеческой гордыни и веры человека в себя!.. Да что там! Если б не он – не было б, уверяю вас – и никакого Байрона!

Но, когда пришло известие о смерти Наполеона на Святой Елене (это было уже в Кишиневе), – в бане, в парилке, со сладостным урчанием окатываясь водой из медного таза и очень заботясь при этом о своем богатстве – он говорил так:

– А вы знаете, что у Наполеона был, что называется, птифаллос?.. Очень мелкий. Пипка – а не член. Нет-нет, не знаю, сам-то он, может, что-то и получал в общении с женщиной, но женщина... Недаром Жозефина изменяла ему направо и налево – покуда не стал императором, конечно, ну а потом уж... пардон! Императору не изменишь! – если он не слабак и не Людовик XVI! (Кстати, вся революция французская произошла исключительно из-за бессилия Людовика и неудовлетворенности Марии-Антуанетты – не знали?) Все равно Наполеон в отместку сменил ее, Жозефину, на принцессу Луизу. Но и та в итоге спуталась с каким-то гренадером. – Откуда он брал все – про Бонапарта – было не известно, и Александр попытался выразить сомнение.

– Не верите? – спросил Раевский меланхолически – и оглядел его с ног до головы – голого и беззащитного...

– Не горюйте! – завершил он, Женщины врут себе, как правило, полагая, что рост мужской и размер фалла соответствуют друг другу. Ничего подобного! Бывают ошибки, весьма прискорбные! (рассмеялся громко).

– Не бойтесь! (этак свысока). То, что нужно по-настоящему возбудить в женщине – расположено недалеко. То есть – неглубоко... – Недаром говорят гусары: «Маленький...к – кой-где королек!»

– А греческие статуи? – спрашивал Александр растерянно.

– А вы видели самих древних греков? Не видели! Они были ростом меньше вас! Человечество растет постепенно... только куда?.. – хмыкнул и снова стал обливаться жадно.

Что касается ноги, на которую он припадал... у него был свищ на самой жиле, в нижней части голени. Свищ никак не заживал, его-то он и лечил в Пятигорске ваннами, поджидая семейство. Когда он распокрывал свою рану в бане, лицо его ненадолго делалось задумчивым (вопреки обычному), даже жалобным. Да и на ногу было жалко смотреть. Он несколько минут осторожно поглаживал ее, глядя куда-то в сторону. Дома говорили, что это было следствие

раны – которая так и осталась от лишнего расширения вен (что после доктора будут звать «варикозным», а в те времена без разбору третировали аневризмой). Но сам он и здесь умудрялся набрасывать тень таинственности, намекая Александру, что сие, возможно, след венерической болезни, название которой он скромно умалчивал. (Его острые глаза при сем туманились загадкой.)

– Ваш любимый Руссо, как вы помните, водил своего племянника по венерическим клиникам Женевы, дабы явить ему картину последствий разврата! (И, странно, в его устах эта история с бородой звучала почти новацией! Может, потому, что он добавлял: – Кстати, эта злосчастная уремия, так мучившая его, была след незалеченного люэса! Впрочем... у великого Петра было то же самое! Он лечился в Голландии и не долечился... потому и умер. А наши историки твердят, что он там обучался строительству флота! – он и это знал! – и в его устах слово «люэс» отдавало эстетической категорией.)

Александр, как всякий молодой человек, смертельно боялся этих болезней – и, вместе с тем, питал к ним необыкновенное любопытство.

– Как? Вы ни разу не бывали – хотя бы в Любеке? (Он отлично знал, что Александр никогда не был за границей!). О-о! Это – первый ганзейский город на пути в Европу, как помните из географии – и классический город публичных домов и венерических клиник. Наши россияне быстро освобождаются здесь от гнета самодержавства – и не успевают заметить, как переходят – из заведения одного типа в другое!

Он говорил еще: – По мне муж младый, кой не испытал ни одного ртутного сеанса и не заразился, хоть раз, хотя бы гонореей – не может считать себя вполне состоявшимся. Помню, во французском походе... Я забавно встретил утро с известием о капитуляции Парижа и об отречении Бонапарта. Я вспомнил, что не изнасиловал еще ни одной француженки! О, эта чистота юности – где ты?! Кстати, мы, русские, их тогда позаразили изрядно! Но и научили, полагаю, кой-чему. Французские мужья могут быть нам в сем случае признательны!

При всей своей озабоченности гетерическими смыслами – он почему-то ужасно раздражался молодыми людьми, у которых сия озабоченность все еще выражалась в обилии прыщей на лбу. Тут он бывал несдержан. Добро еще, когда это касалось беззащитных архивных юношей!.. Но пару раз при Пушкине он, не удержавшись, произнес свое «адский хотимчик!», едва не в лицо какому-то корнету или юнкеру. И тотчас же был вызван на дуэль. Как это удалось загасить, так и осталось в тайне... (Вообще, при его способности раздражаться и в раздражении оскорблять людей – было странно, что у него еще было мало дуэлей!)

Когда, много позже уже, в Одессе, он знакомил Александра с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой – он сказал ей: – Это способный молодой поэт, уже, наверное, известный вам понаслышке! Он украсит, без сомнения, ваш салон мадам Рекамье. Вы ведь, как дитя – любите все, что блестит! – Простите, Александр!

Александр ожидал взрыва – отповеди губернаторши – но увидел слабый взгляд – женский, беспомощный...

Он, как джентльмен – тотчас вступился за даму: – Я согласен служить графине – и даже игрушкой! – поклонился и поцеловал руку, во второй раз благодарно протянутую ему.

– Ну... вы готовы, я вижу! – сказал мрачный Раевский Александр, когда они остались вдвоем.

– Что тут плохого? Она прелестна! – сказал Пушкин Александр, принимая от лакея с подноса бокал шампанского. Хмель жизни в очередной раз ударил ему в голову.

– Да, конечно, – Раевский тоже снял бокал и опрокинул шампанское, как водку. – Этот нежный взгляд – мягкий и, как бы, влажный... Что останавливается на вас с таким печальным зовом... Но он так останавливается решительно на всех. Можете последить, если хотите! Он так полон мечты о несбывшемся – и каждый из нас готов тотчас предоставить ей то, что она не нашла в жизни... На самом деле... Знаете, что излучает – этот небесный взор? Что стоит за

ним? Герб гетманов Браницких! Башенки Белой церкви! – родового и неотъемлемого имения гетманов – польских, заметьте! Она полячка, польская панна... Паничка коханна!.. Любите меня! Но прелести сии могут быть оплачены лишь полновесной ценой! Она могла быть только женой наместника. Генерал-губернатора. Ну, если ей уж не подфартило императрицею...

– Почем вы знаете? – отмахнулся Александр. – Он, и вправду, чуть пьянел. От шампанского, от женщины... Его чуть шатало. И даже в ногах его качались меч ты...

– О-о! Я знаю столько, что вам не снилось! И не только потому, что вы молоды!.. К тому ж... я ей – кузен, – прибавил он торопливо.

– Ах, друг мой! Самая красивая женщина Парижа не может дать больше, чем у нее есть. А есть не так много – как мы с вами знаем!.. (И рассмеялся деланно.)

Сколько раз потом, встречаясь с Елизаветой Ксаверьевной, женой Воронцова – и наблюдая ее в свете, Александр то вспоминал слова Раевского – то начисто забывал про них. Эта женщина одним взглядом умела заставить забыть. Все. Даже собственное знание... Просто... когда она взглядывала на тебя *так* – ты тотчас уверялся, что ты один – на кого можно так смотреть. Есть такие глаза и такие женщины.

Ну, разумеется... на каменистой дороге из Юрзуфа, при переходе через Крымские горы – Александр еще не знал всего этого. Стараясь не упустить маячившие впереди фигуры Николая Раевского и Николая Николаевича-старшего – генерала, и доктора Рудыковского – впрочем, и не нагоняя их (хотелось еще побыть одному) – и следя за дорогой, чтоб конь не остушился: горные тропы, – Александр вспоминал того Александра, своего друга, и чувствовал, что власть, какую тот обладал над ним, – мало-помалу начинает исчезать – вместе с расстоянием. И был рад этому, и, как всегда, когда что-то исчезает – и мы хотим, чтоб исчезло – не понимал, что стоит только встретиться – и все начнется снова... Раевский Александр был такой человек, что думать о нем дурно хоть в какой-то степени – можно было лишь находясь вдали от него. Но стоило *увидеть* его – и ты вновь попадал в полон его неистребимого обаяния. Пусть даже порой откровенно отрицательного – что из того? Иначе, откуда бы взялся Мефистофель – и все демоны на свете! Тем более, что трудно было уйти насовсем от него – и опять он оказывался прав, и опять... (И Александр еще не раз по жизни столкнется с его правотой – и даже тогда, когда тот Александр, кажется, навсегда покинет сцену его жизни.)

В Бахчисарае г-н Ананьич, местный полицмейстер, потея от усердия – под робно докладывал генералу и его спутникам легенду здешних мест про пленницу-европейку, якобы полячку, которую любил местный хан Гирей – а после ее смерти или ее гибели воздвиг эту гробницу и этот фонтан... Из ржавой трубы временами набегала коричневатая капля. Будто капля крови, обесцвеченная временем. Почему история всегда пахнет кровью – или напоминает о крови?.. Как будто княжна, как будто Мария... Потоцкая. Из тех самых Потоцких, уманских?.. В истории было нечто байроническое (верно, это и раздражало друга-Александра, слышавшего ее ране). Сам-то Пушкин почему-то сразу поверил – что все так и было. Имя Мария как бы удостоверяло собой быть. Цвет прекрасный – пересаженный на чуждую почву... Какой у него удел? Он представлял себе те самые – две узенькие ступни – робко спешившие в этих комнатах, по мягким ширазским коврам – утопая, как в воде. *«Любили мягких вы ковров – Роскошное прикосновенье...»* Строки рождались неизвестно откуда – и упали неизвестно куда. Он никогда не знал – откуда они приходят. К чему приложатся, зачем?.. Сюжетов была масса – но *сюжета* еще не было. Жизнь была прекрасна и нежна. Смерть обыкновенна и несбыточна. Мария! Он повторял про себя – и любовался сладкозвучьем. Слово слетало с губ – и упархивало, куда-то в вышину. Небесный свод... Две узкие ножки застили горизонт, за которым пряталось солнце. Девушку он покинул легко, а воспоминанье было прочно и томило душу.

Что сказал бы друг-Раевский? – Вы влюбились в девочку? Поздравляю! Вы ста реетесь, мой друг! Право, слишком рано! Эта преждевременная старость души... Впрочем... весьма расхожая болезнь. Века! Мы уже рождаемся стариками. Только старые рамоли волнуются

девочками!.. – Александр словно услышал въяве, с каким восхитительным презрением – тот произнес бы это слово *«рамоли!»*!

Что если б эта девочка с беззащитными ногами – столкнулась с человеком, подобным ее брату?..

Мысль было не отогнать. Он забывал ее и вспоминал снова *«... Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века...»*¹⁰

Схолия

Интересно, как Пушкин почти сразу уверовал в легенду о Марии – в отличие от многих современников своих – включая Мицкевича. Наверное, к каждому писателю идет *его* материал!

Имя Мария с этих пор не покинет его до конца: до Маши Троекуровой в «Дубровском» и Маши Мироновой в «Капитанской дочке». Не только «Бахчисарайский фонтан» или посвящение к «Полтаве» озарены этим именем и воспоминанием. «Твоя печальная пустыня, – Последний звук твоих речей – Одно сокровище, святыня, – Одна любовь души моей»... Подпойми – почему это посвящение до сих пор оставляет в сомнении исследователей относительно адресата поэмы: здесь все так явственно! «Последний звук речей», конечно же – последнее свидание с Волконской (Раевской) перед ее отъездом в Сибирь – об этом после). Но главное – сам сюжет, где, помимо Петра, Мазепы, Кочубея, поединка власти с гордыней и мятежом, столкновения двух правд: Человека и Государства – есть еще трагическая история любви юной девушки к старому мятежнику. (Волконскому в пору приговора по делу декабря 1825-го – почти 38. Это – если не старость, то далеко от молодости, очень далеко. – У каждого века – свой возрастной ценз. Пушкин в 36 писал жене: «Но делать нечего. Все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком...» 25 сент. 1835.)

IX

От одиночества в доме он бежал в поля – и там тоже был одинок. До всего, что с ним стряслось – до этой остановки на пустынной станции (Михайловское) – он всегда торопился. *«Я любил и донныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier...»*¹¹ Он был человек толпы. Ему было куда спешить. Он любил барахтаться среди тесных человеческих стоил – где сама теснота есть свобода и возможность бесконечного узнавания чего-то нового. Любил оттачивать без конца собственную мысль о точила других мыслей, тешиться своим признанием в мире... Любил общество – мужское, не менее, чем женское. Вообще, человеческое множество, сумятицу – катался в ней, как сыр в масле – театр и итальянская опера, балет – бесконечное мелькание нежных тел и тонких ног, эта роскошная пантомима неназванных чувств и невысказанных желаний; раскланивань, расшаркивань; игру взыскательных лорнетов, что на каждом шагу стремятся обнаружить не встреченное в жизни; пляжи, уставленные шезлонгами под цветными зонтами, где так приятно примечать под навесами знакомых, особенно дам – и ощущать нежданные толчки пульса от волнующих предчувствий и сладких снов наяву, ловить взором – то, что можно уловить, и оставлять пристрастному воображению то, что скрыто... К тому ж... вспомним, он был вундеркинд – почти сыздетства привыкший к похвалам. Хлипкая порода! Он привык, что называется, «вертеться в кругу», где

¹⁰ Из письма В. П. Горчакову по поводу «Кавказского пленника» – октябрь-ноябрь 1822, из Кишинева. До «Онегина», вроде, еще далеко, но не только эта фраза – впрямую об «Онегине», но и сам «Пленник» (замысел, судя по письму), и «Цыгане», и «Онегин» – несомненно гроздь не только с одного виноградника, но и с одного куста. Как все три героя – бесспорный результат близкого общения с А. Раевским. (Потому, кстати, оправдано появление в тексте этой книги, среди размышлений героя, более поздних – чисто «онегинских» строк.)

¹¹ Верно, следует читать: «только на первое».

каждый по-своему знаменит – и, вместе с тем, все равны – хотя и кто-то (тот же Жуковский или Карамзин) как бы, «еще равнее».

А тут – стоп! Остановка. Станция в лесу. Говорят, эмиграция – это встреча не с кем-то, но с самим собой. Изгнание – тоже. Его тоже ждала теперь встреча с собой. Кто он и что он?.. Он терялся в догадках. Перед этой встречей он был беззащитен – как все мы.

Он уезжал с утра в поля – еще до завтрака – и поля с перелесками поглощали его, вбирали в себя и ставили перед ним все те же вопросы. Сумеет ли он сейчас... один? Без волшебства общений, без пышных красок куртуазного бытия, без надежд и разочарований – что сами по себе не менее значимы для тонкой души, чем надежды и сны, – сохранить все, что заложено в нем? И не только сохранить – умножить! Умножить... Тоска! Грустное чувство. Печальное чувство.

Люстдорф баюкал его в колыбели несбыточного – но это *было!* И целых два часа! Или два с четвертью... Самая лучшая женщина на свете принадлежала ему. То была ее воля. Ее желание. Томительная власть тела над духом. Дух вечен. Тело рассыплется прахом. Потому оно и так прекрасно, что это только миг. Мгновенье бытия. Потому тело сильнее и... Какое счастье! Безумие. Счастье. *«В глазах ее башенки Белой церкви!.. Родовое гнездо гетманов Браницких...»* Подумаешь! Вы – сноб, мой друг! – а в снобизме всегда есть нечто, что в тесном лондонском кругу зовется vulgar... Пусть башни. Пусть вся Украина – с ее пылкими сынами и ветреной степью. Все равно – в ту ночь – она любила только его. – Даже если то был день, конец дня. Два часа. Унылые немцы-хозяева делали вид, что ничего не замечают. Он отдал им все, что было у него в кошельке, чтоб они не замечали. Чтоб только осталось на извозчика – на обратный путь. У него вечно нет денег. *Отец всегда жалел ему денег. Нелюбимый сын. Кажется, родители все еще сожалеют – что талант достался не тому из детей. Нелюбимому.* Сам он чувствует в себе нечто моцартианское. Но отец его – не Моцарт-старший. Как его звали? Леопольд! *Которому ничего не пришлось доказывать. Он сразу узнал в слабых звуках, извлекаемых сыном из пискливого клавирина – голос Бога. Беда! Если ты должен что-то доказывать миру – и приходится начинать с собственного отца. С этим надо смириться.* Люстдорф. Он лелеял в себе запах той комнаты. В любви все прекрасно! *Так-то-с, уважаемый мсье Раевский! Мой друг! Мой жестокий воспитатель! Можно подумать – вы сами не ходите на горшок! Меня изгнали из Рая. Изгнанник Рая. Как чувствовал себя Адам? Но он был не один. Интересно, она-то чувствует – изгнание? Или покорно сучит шерсть обыденно сти? Пред лицом чиновного мужа и безнадежных поклонников? Напоминающих собой пенелопиных женихов?..*

Все равно. Он испытал бессмертие. Теперь можно умереть. Сейчас он умрет. Он пережил главное в жизни. Все остальное – мелочи. Стихи? И стихи умрут. Пустяки. Кто-нибудь напишет – другой. Кто сказал, что за Пушкина никто не напишет? Слова бессильны. Недаром древние начинали со статуй... С того, что воссоздавали женщину в камне. Это стремление сохранить истинно бессмертное... Тело. Люди уйдут, слова отомрут. Только камни останутся... Тела, изваянные в камне. Странно – что они так чувствовали женское тело – эти бардаши-греки. Куницын рассказывал – все сплошь были мужеложцы. Все творцы нашей цивилизации. Целая философия – на этом... А как же тогда – Афродита? Он говорил, что они и мылись лишь раз в месяц (и то не всегда). Представить себе – как мог пахнуть такой солдат-Архилох! Или сам Сократ... А их Диотемы – музы женского пола, не подмывались, кажется, вообще – но лишь умащивались благовониями. Тоскливо. Они жили в городах, в которых нечистоты текли в желобах, прямо вдоль улиц, как в той татарской деревне, что встретила на пути, когда... *В городе Пафосе, на Кипре, где великий Пигмалион создал свою Галатею – дерьмо стекало прямо в источник Афродиты. О, пенирожденная – из какой пены ты вышла?*

Как-то, поздним утром, сходя с коня и понимая, что опять опоздал к завтраку – Александр опустил повинные очи долу и увидел... Что ноги коня – все мокрые, волоски послип-

лись, и чего к ним только не наприлипало: желтые травинки, мелкие жухлые листики, сырые комья темной грязи... Осень! Он и не заметил. Солнце над ним стояло несветлое и нетеплое. Растекшееся – как деревенская баба. Вдалеке стая птиц медленно разворачивалась, уплывая на юг. – Кто-то летел на юг – и только ему воспретила судьба. Изгнанник Рая?.. Он оглядел ноги коня, свои сапоги – тоже в осеннем убранстве. Ноги коня – сапоги, ноги коня...

Из Одессы, хоть плачь! Ни строчечки, ни письма! *Сердце вести просит!*.. Единственная молитва, которая стоит того, – это молитва о любви. Он не зря стал писать роман о любви.

И вовсе не о любви токмо... О любви и смерти – так точнее!

Эти тригорские дуры, верно, будут уверены – что, сидя здесь, он пишет роман с них! В самом деле... и мать есть, и няня. И барышни... каждая из которых могла бы сойти за Татьяну, либо Ольгу. Что с того, что он придумал их там, где их и в помине не было?

Он снова стал бывать в Тригорском, чем очень обрадовал – и сестру, и всех тамошних. «*А то, мой брат, суди ты сам – Два раза заглянул – а там, – уж к ним и носу не покажешь...*» Смешная штука – жизнь! Стихи так легко вторгаются в нее и мешаются с ней. Не успел сочинить фразу – и она уже живет своей жизнью – и вдруг оказывается, что она и есть жизнь.

– Вы скучаете! Но в феврале кончится траур – и у нас уже можно будет танцевать!

Александр пожимал плечами, хрустел яблоками, улыбался. Зубы у него были белые, эфипские – удивительно крепкие. Хозяйка дома – вдова – желала, кажется, более других, чтоб траур был уже позади. Вот и женись после этого! Он не любил танцев. Во-первых, считал себя неважным танцором, а во-вторых... В этом мнимом обладании женщиной на несколько минут в танце ему мнилось что-то нечистое. Он никому не сознавался в этом. Особенно, когда придется кого-то – любимую – отпускать танцевать с другим. Невольно следуешь за ней, испытывая вместе с ней объятия какого-нибудь здоровенного гусара (кавалергарда?). Кто знает – что она вспоминает потом? (Даже если на том все и кончилось.) Если б он поделился этими своими мыслями с приятелями – все были бы шокированы или порядком уди влены. Он казался таким раскованным, таким лишенным предрассудков. И теперь же, все же – девятнадцатый век! Он никому бы не сказал, что мучится своим малым ростом. Рост Наполеона – это хорошо, но когда ты уже Наполеон!

– Жженка уже скоро готова! Ликуйте! – возвещала Евпраксия. Он делал вид, что ликует. Он не любил ее жженки. Она не умела ее готовить. Вкус получался провинциальный. *Затеи сельской остроты...*

– Странно! Столько барышень – а я не вижу для вас пары! – говорила Прасковья Александровна. Они любили уединяться и беседовать в уголке. – Так, будто жизнь молодых катилась мимо них – солидных и опытных. Он охотно играл с ней в эту игру. Порой он не терпел сверстников. «Старушке Лариной» было под сорок – может, чуть за сорок. Она старалась сидеть всегда в уголке – глубоко вдвинувшись в кресло. (Было такое место за длинным старинным комодом – чуть не в полстены гостиной.) – Так, чтоб свет дневной не слишком бросался на нее – да и вечерний не слишком ее разоблачал. Морщины? Возрастной ценз времени был безжалостен. Иногда она напоминала ему паука, который, уйдя в тень, с удо вольствием следит, как некто (то есть, он) запутается в другой паутине... И все же... Было что-то в ней такое – мелькало – чему он не решился б подобрать название...

– Я с удовольствием отдала бы за вас любую из них! Но вы... право, не знаю, с кем бы вы были счастливы! Странно... но этот пасьянс для вас никак не раскла дывается.

– Благодарю! Но я... право, как бы, еще не собираюсь жениться!

– Соберетесь! Нетти. Вы, конечно, как все, влюблены в Нетти. Даже если сами не признались еще в этом себе. Это самое естественное! Это моя племянница – но я люблю ее не меньше родных дочерей. Темные волосы и голубые глаза. С поволокой. Пухла, нежна... Но... Заметьте, где начинается настоящая Нетти! Когда в комнате не меньше, чем трое мужчин. Тогда этот волшебный взор с поволокой блуждает рассеянно – останавливается на вас – и в

нем столько соблазна! Но не торопитесь! Он сейчас уйдет с вас – и остановится на ком-то другом. Он так останавливается на всех по очереди. (Александр вздрогнул, вспомнив схожее предостережение. Проклятый Раевский – сумел все-таки отравить его своим *безочарованьем!*)

– Этим можно увлечься, не спорю... Но жениться? Упаси Бог! Евпраксия? Она красива. Добра... и, пожалуй, более всего подходила бы вам... да вы уже и явно заинтересовали ее собой! – но... она слишком молода, сиречь – не знает еще самой себя. Вы могли бы стать ее первой влюбленностью – но как будет со второй? Первая и есть самое непрочное. Надобно подождать до второй. Впрочем, вы, как понимаю – не намерены торопиться!

– Пожалуй!

– Аннет! Вот кто вам был бы нужен! С ней вы были бы счастливы. Ни измен, ни сторонних взглядов даже... Она красива, умна... но... Во-первых... она всегда знает истину, в то время, как вы, разумею, ее только ищете!

– Почему вы знаете, что я – только ищу?

– Это видно по вам! Потом, вы поэт... это как бы – свойство пиитическое. Не так?

– Так... а во-вторых?

– Но сказанное означает – вы быстро соскучитесь! Она предъявит к вам те же беспременные требования, что к самой себе. Она будет настаивать на них. И придет день, когда вам это станет несносно. Вам захочется чего-то такого... немного... м-м... Ну, как старшая рискну назвать... порочности, что ли?.. Вы пожалеете о драмах, которые пережили прежде – или не успели пережить. Опять же, вы – поэт и питаете опасную склонность к драмам! Должны питать! Не так?

Несомненно она была умнее – всех своих дочерей!

– Александра бедная, Сашенька, Алина... не мучьте ее! Она, к сожалению, без памяти влюблена в моего сына. Заметили? Что они там делают – вечно вдвоем, не знаю. Да и, честно говоря, не стараюсь узнать. Она его кузина... прямая – и пона добилось бы разрешение церкви. Но не думаю, не думаю. Да отдала б я его ей, отдала! Неважно, что за ней почти ничего нет. Бог с ним! Что толку – что я оба раза выходила с приданным! А счастье? Но он, боюсь, просто ломает ей жизнь.

Вы любите пирожки с мясом? Жареные?..

– Ну, конечно, люблю. Кто их не любит?

– Кстати, надо будет велеть кухарке приготовить. Она ужасно ленива – касательно новых блюд. Тех – к которым не привыкла. Эти бесконечные сельские салаты! О чем мы говорили? Об Алексисе! Бедный мальчик! Я рада, что вы ему уделяете внимание. Как мать – я должна быть рада. Но мой Алексис – это пирожок с ничем! Я это хорошо себе представляю!

...Почему она склонна вести с ним все эти разговоры? И в них, кстати, умудряется быть забавной весьма... чтоб не сказать – просто интересной? Вряд ли она впрямь хочет его женить. Да и дочерям ее нет нужды торопить события. За ней – то есть, за ними – твердое имение, не то, что он... не понять – есть, нет ли... скупердяй-отец и смутная слава. Да вдобавок – опала!..

Знала бы она – как все это мало занимает его! Так мало! Что был Люстдорф... и берег, и комната в аккуратном немецком домике... И слова, которых нет в человеческом языке – только в птичьем. И страдание счастья. И такого полного – что мучительней не бывает. И берег. И экипаж на берегу, готовый к отходу. – В темень, почти стемнело, в никуда. И женщина, уже опустившая вуаль, чтоб исчезнуть в нем. Навсегда или все-таки?... Нежная, как перья на ее шляпке. – Склоненные перья страуса качались в его мозгу.

Он взглянул незаметно на перстень на своей руке. Талисман. От чужой любви, от порчи, от зла. Там что-то написано – по-древнееврейски. Жиды все сплошь каббалисты. Их древняя религия знает тайны – людей и веков, и стран. Впрочем, перстень – вроде, караимский? Ему что-то говорили об этом маленьком и непонятном народе, который, вроде, пошел от древних хазар и верует по-иудейски. – И как-то умудрился сохранить себя – среди хаотических движе-

ний других, более крупных племен. Он стоял на берегу и глядел в колеса – готовые вот-вот двинуться. Сейчас он готов был упасть в колеса. А под ногами плыл пол Тригорского...

– Что там написано? – спросила она, сознав, что он смотрит на свой перстень.

– Не знаю, – сказал он. – На древнееврейском. Это караимский перстень!

И вдруг он уловил в ее взгляде что-то веселое и злое... Непрожитую жизнь – вот что! Это им, молодежи, казалось – что у нее все позади. Она думала иначе.

– Ну вот... все готово! – сказала Евпраксия, внося жженку в большом круглом тазике.

– Прекрасно! – сказал Александр, – прекрасно, – и подставил стакан. Жженка была совсем не так плоха. Он просто ворчал. Досадовал. За то, что здесь были все, без кого он, в сущности, мог обойтись. Все, кроме...

Руки Евпраксии мелькали, разливая жженку. Руки были пухлыми, как у матери. Они были прелестны. Может, вправду, Евпраксия? Вторая любовь? Ну, он подождет. Но бывает, что и первая... «*Кто ей внушал – и эту нежность, – И слов любезную небрежность?*» Прильнуть к одной из этих детских – и уже взрослых рук, – и все забыть. Остаться навсегда. В доме, где его любят, где он мог быть счастлив. Перья страуса на шляпке?.. И перья забыть. Зачем Раевский поехал с нею в Белую церковь? Его пригласил муж. Раевский, как-никак, кузен. У Алексиса роман с кузиной Сашенькой. Вполне откровенный. Они сейчас все в Белой церкви. Слава богу! Будет хоть кто-то, кому напоминать ей *его*. (Раевский, его друг.) Они смогут говорить о нем. Девочка с тазиком жженки в пухлых руках отходит куда-то. Она уходит в тень. Она далеко. Все далеко. «*Кто ей внушал – и эту нежность...*»

– Александр! Опять огрызки яблок в цветах! – это, конечно, Ан-нет. – Где вас воспитывали?

– В Лицее! – смеется он. В Лицее!.. Там, во дворце государя – эти огрызки во всех цветочных горшках! – Он с детства не выносил строгой любви.

Слишком долго объяснять. Что его дом никогда не был домом в привычном смысле, что об этом даже сочиняли стихи – его насмешники-друзья. Что там, в отличие от прочих домов – всегда сбивались с ног, ища чего-то неведомого – того, что отродясь не было. Ни в вещах, ни в чувствах?..

Он взглянул на Аннет. Она раскраснелась – от жженки, верно? И была необыкновенно хороша, не хуже Нетти. Но во взгляде – вдруг что-то жалкое. Точно застеснялась себя, замечания, сделанного ему. Бедная Аннет! Она ж хотела просто обратить на себя его внимание! И сама страдала, кажется, от собственной правильности.

Как объяснить – почему его в женщине равно влекут – и чистота, и порочность?..

Когда он воротился домой – отец хмуро буркнул: – Тебе письмо! По-моему, с Украйны! – он сказал это почему-то недоброжелательно; держа письмо в руках и вовсе без охоты его отдавая. А потом еще побродил возле, сопя, мыча под нос – и все мешая сыну пройти в комнаты с письмом. Ему явно хотелось узнать – что там?

Но сын круто развернулся, обошел его боком, не глядя, и прошел к себе.

Любезный друг!

Вы, конечно, решили, что окончательно укрылись от нас в своих псковских вотчинах – среди темных лесов, провинциальных леших и босоногих колдуний, которые, возможно, тайне милы Вашему сердцу. И, быть может, Вы решили, что Вас здесь все забыли и сами имеете право на беспамятство. Уверяю Вас – это не так! Вас здесь помнят и предаются этой памяти достаточно часто. Я даже могу сказать, что Белая Церковь, откуда я родом, как Вы знаете – казалась бы мне более пустой без этих, как бы, случайных, разговоров о Вас. С кем мы говорим? Ну, разумеется, с Александром, Вашим другом, который весь полон историй и впечатлений, так или иначе связанных с Вами, я даже ревную несколько – как много он знает –

того, что неведомо мне. Вам известно – существо я жадное до историй всякого рода – тем более – связанных с близкими людьми. Мы с ним гуляем и вспоминаем.

Во всем прочем, живу я здесь скучно, не-светски, и уже поневоле тянет в Одессу – немного развлечься. Хотя, как вспомню, что там не будет Вас – возвращение не кажется мне таким заманчивым. Я занята семьей и домом больше, чем обычно.

Что Вам сказать? Во-первых, не держите сердца на Него. Он – всего лишь чиновник, притом высокого ранга, это накладывает некоторые обязанности и формирует определенные склонности... И чин, и положение невольно мешают ему понимать людей, стоящих на других ступенях лестницы, сотворенной людьми и Богом – паче, людей, подобных Вам, и, согласитесь, у него может не быть на это – ни желания, ни досуга. К тому ж... могли быть некоторые причины, чтоб ему не хотелось вас понимать – не так?

А во-вторых... помните, что время вылечивает все – а Ваше одиночество, столь мрачное сейчас для Вас – может оказать Вам услугу важнейшую – и, естественно, непредвидимую теперь Вами... на том поприще, для которого, всем известно, Вы созданы. Я, во всяком случае, от всей души желаю Вам этого. К тому ж... Вы молоды и еще не понимаете, возможно, что порой, дабы не быть стертыми – некоторые впечатления должны избегать повторений. Впрочем... это все пустые наставления старшей – я ведь старше Вас! – не обращайтесь внимания – надеюсь, все кончится, и Вы еще воротитесь к нам во всем обаянии Вашей личности и Вашего дара.

Что касается Т. – она помнит Вас (она признавалась мне в этом). Л. тревожит ее память – и она готова воспарить к небесам, жаль только, это воспарение отвлекло б ее от многих прямых обязанностей, кои каждый из нас должен нести в этой жизни и ставить превыше всего.

Девочка вспоминает Вас часто и много – Вы знаете, кто Вы в ее глазах? – «Тот господин с чернилицми бакенбардами», вот новость! – мне казалось, они у вас с рыжинкой. Но у детей свой взгляд на мир. Письмо пишу втайне ото всех – даже от Вашего друга – почему-то мне так хочется. Не выдавайте меня! А лучше всего Вам его сжечь. Я даже просила бы Вас об этом. Ваша последняя история заставляет меня... в общем, понимаете! Не будем беречь то, что тленно – а нетленное – в нас!

С сердечным приветом и нежностью...

Е. К.

(Письмо было, разумеется, французское... «Неполный, слабый перевод... с живой картины – список бледный»...)

Поутру, на конюшне, когда седлали коня – он пристрастно оглядел его ноги и сказал конюху: – А нельзя его почистить?.. Что – скребницы нет?..

– Почему же нельзя? Обязательно можно! – ответил тот, по-волжски упирая на «о». (Верно, был из отцовских нижегородских поместий!)

Что за склонность российская – отвечать вопросом даже на самый простой вопрос – ежели он, конечно, требует действия? Конюха захотелось прибить по-барски, но лень. Александр взирал уныло, как подтягивали седло... Конюх же, при всем равнодушии, все ж заметил про себя, что обычно светлые до голубизны арапские белки бариновых глаз были красны. Не спал?.. Верно, в карты играл, они, баре, все – картежники!

Все слуги в доме были лодыри! Александр подумал, вскочил в седло и быстро исчез. Люстдорф тянулся за ним, как шлейф.

«Не будем беречь то, что тленно, а нетленное...»

Письмо он сжег.

Х

На черновом листке одной из строф «Онегина» – Третьей главы (первая строфа за письмом Татьяны) – он пометил: «5 сентября 1824 u.l.d. EW», что означало: «eu lettre de Elise Wogonow». Там же – быстрый очерк пером – Татьяны, пишущей письмо: «Сорочка легкая спустилась – С ее прелестного плеча»... Между прочим – и профиль Сергея Львовича (случайность?).

– Кстати – что отец все медлил отдать мне письмо? Тянулся прочесть? Этого еще не хватало! Странный порыв – для воспитанного дворянина. Впрочем... нынче дворянство пошло скудеть воспитанием!

В доме явно накапливалось раздражение против него. Он старался этого избежать, но... Все люди на свете – даже баре – кажутся себе и другим занятыми чем-то. Все – кроме художника. – Этот по профессии занят собой. «Читаю мало, долго сплю, – Летучей славы не ловлю...» Вообще, неудача судьбы всех вокруг раздражает – даже близких. Он это чувствовал. Неприятно так жить – словно замерши в ожидании, что на тебя нападут. Начинает хотеться сорваться самому. Не важно, по какому поводу – но первым.

– Ваш брат пренебрегает, по-моему, семейными обязанностями! – изрекал отец за завтраком, как бы невзначай, как дятел, постукивая ложкой по скорлупке яйца, чтоб надбить его только сверху – а не разбить вовсе. – Он нарочно говорил «ваш брат», а не «ваш сын» – чтоб не дразнить жену. С женщиной вечные истории.

Никогда не знаешь – что может задеть! – Он был давно женат – и знал: семейная жизнь – это не клуб удовольствий. Вот на детей он смотрел пристально и без стеснения: нет ли бунта на его корабле? И не берут ли они, в частности, дурных уроков?.. У старшего?..

– Он привык с утра кататься верхом, – вступалась Надежда Осиповна тоном неуверенным и опустив глаза. Она тоже старалась избегать ссор. Зачем? Все равно ничего уже нельзя изменить. Она вспомнила, как раздевалась при последнем любовнике (давно) и улыбнулась в тарелку.

– Ему нужно побыть наедине с собой! – вставляла осторожно Оленька. Она так надеялась с приездом брата хоть чуточку расцветить собственную жизнь. Теперь она опасалась за него...

– Ну, может... он просто сочиняет? – встревал братец Лев, подавляя смешок. Он был смешлив. Он прекрасно знал, что Александр просто стремится увильнуть от семейных трапез. Он и в себе ощущал эту потребность. Но привык как-то с детства к образу примерного сына. Придется потерпеть. Что поделаешь – брат уродился талантливей его – и может позволять себе больше... хотя он ощущал сходство...

– Мог бы, все-таки, явить больше внимания – к тем, кто... – отец хотел сказать: «к тем, кто его кормит». Но побрезговал: как-никак, старший сын! – обвел глазами всех и договорил: – ...к тем, кто его окружает!

...Он впрямь избегал домашних. С утра в полях, на коне – мокрые поляны, проселочные дороги, где под ветром влажные листья охапками осыпают тебя вместе с ворохом капель вчерашнего дождя. В дороге он вдосталь беседовал сам с собой или с теми, кто в мыслях попадался ему под руку. Здесь он был волен. Здесь слова бежали, как строки, и персонажи возникали, как на театре.

Он понял, что почти что забросил «Онегина». Больше месяца. С Люстдорфа? чуть больше? А я, любя, был глух и нем... С того дня, как тучи сгустились над ним – еще в Одессе. Письмо Татьяны так и оставалось видением. Не облаченным в словесную ткань. Хотя были уже последующие строки... Столь обрадовавшая его, с месяц назад во Пскове, мысль – *Любовь-Бог (для Татьяны), послание – молитва* – теперь казалась незначашей, во всяком случае – никуда не вела. *Письмо барышни, к тому же семнадцатилетней, к тому же – влюбленной...* Нечто мечтательное и элегическое. Тут нужен Баратынский – не он!

Два письма. Одно сожжено, другое не написано. *Скажи, которая Татьяна?..* На это и он сам вряд ли мог ответить себе.

Послание ЕВ было из Белой Церкви, где она находилась с семьей. Как все любящие, он прочел его медленно и пристрастно – как путник в чужом и диком лесу – ловящий на слух всякие шорохи и стуки: пугающие? обнадеживающие?.. Подпись смазана – в виде неразборчивой монограммы. (А чего он хотел?) Т. – Татьяна, Л. – Люстдорф... «...*тревожит память... готова воспарить... но обязательства...*» – м-гу... спасибо и на том!.. (Кстати, это Раевский придумал звать ее Татьяной – в целях конспирации! Он же не представлял – кто была Татьяна на самом деле?)

Ожидание в любви всегда больше получаемого. Письмо не утолило жажду. (Он даже вышел в темную гостиную, ища кувшин с ариной брусничной водой – и правда, пересохло горло – и что-то бормотал про себя.) Нет, не мог же он винить ее в том, что письму недоставало нежности и открытых признаний? Она и так должна была набраться смелости – отправляя его. Надо быть благодарну. Все – между строк – но и между строк чего-то недоставало...

«*Как вспомню, что там не будет вас...*» Он цеплялся за эти блески истинного чувства (как ему казалось) и старался надеть их чем-то большим... Женщина – или силуэт женщины? Мерцание словес. Он тонул в этом мерцании.

Сжечь письмо? Она с ума сошла! Оно все еще пахнет ею! Тут он лгал себе. Письмо добралось долго, на почту попало с оказией – кажется, в Харькове. Штемпель. (*Кто-то ехал? Или послала слугу?..*) И пахло уже только почтовыми тракатами и сургучными пакетами. «*Занята семьей и домом...*» – Дольше других, когда листки сворачивались уже (два листка) – в огне держались эти слова! Весьма утешительно. Влюбленный в замужнюю женщину всегда невольно радуется, узнавая, что она много занимается семьей и домом. Все меньше шансов на еще какую-то случайную встречу. (А муж – не в счет, как всегда, муж не в счет!)

Да-да, все правильно! И «*время вылечивает все*» (кто не знает?), и «*одинокое чество может принести пользу важнейшую... на поприще...*» Бывают такие тексты и диалоги, в которых все правильно, только... Говорить это должен был кто-то другой. Кто угодно – ты сам себе – только не она!

– *Кто ей внушал – и эту нежность – И слов любезную небрежность?..* Нежности не было в письме. Что угодно – любезность – только не нежность! Он вдруг ощутил это явственно. – *Кто ей внушал – и эту нежность – И слов любезную небрежность... – Я не могу понять... – Разумеется, Татьяна пишет письмо по-французски. А автор только: ...но вот – Неполный, слабый перевод, – С живой картины – список бледный...*

...Что-то, все же, еще брезжило в нем. Что-то двигалось – как лодка: от одного берега к другому – незнакомому. Он сознавал, что начал роман спустя рукава, заряжен случайным впечатлением. По наполеоновскому принципу: «*Ввяжемся в бой – а там посмотрим!*» Он помнил хорошо, как родились первые строки и имя героя. *Поклонник неги праздног... Негин! О, Негин, добрый мой приятель!* И вдруг, как удар, как судорога в локте: *Онегин! Онегин!..: «Как Чильд-Гарольд, угрюмый, томный – В гостинных появлялся он...»* Он даже поддразнивал читателя. Он никогда не боялся, что скажут – «Ну, это – Чильд-Гарольд!» – сиречь, подражанье. Или: «*Это – «Адольф»!* (Бенжамен Констан). *Пусть говорят!* Как всякий истинно пишущий он знал, что

все на свете уже *было* (написано), и дело только в словах. Он верил в свои слова, и что, раньше или позже, они его выведут к чему-то своему, сугубо независимому.

Средь библиотеки Тригорского – *разрозненные томы из библиотеки чертей* – в огромном шкафу, в два ряда, попробуй сыщи что-нибудь путное, – он нечаянно обнаружил «**Валери**» Криднерши, как он называл – Юлии Крюденер, оба томика – забрал домой и стал перечитывать. Он знал это, конечно, еще в Лицее – когда все читали, что ни попадя... «*Между тем, когда я впервые ее увидел – Валери – она не показалась мне красивой. Она очень бледна: контраст, который составляет ее веселость, даже ребяческая ветреность, и лицо с печатью чувствительности и серьезности...*» – *Откуда у этой немки или лифляндки такой французский? Впрочем... у нее были хорошие учителя, говорят, даже сам Шатобриан... Странно, что столь пленительная (по рассказам) женщина и писательница становится вдруг религиозной кликушей! Кажется, она пыталась соблазнить в католичество самого императора Александра. В итоге он выслал ее из Петербурга – по наущению этого Савонаролы – Фотия. Еще один православный святой! Мистики придворное кривлянье...*

– *Вам, государь, не повезло со страной! Ваши рыцарские замашки требовали Швейцарии. Или хотя бы – Люксембурга. Почему б вам было не получить в правление Швейцарию? Я не говорю – Францию, это опасно!*

...как лицейский – он хорошо помнил царя. Лицейсты часто встречали его в Екатерининском парке: он прогуливался один – или с кем-то из придворных. Но почти никогда с супругой – Елизаветой Алексеевной. Мягкие черты и рассеянный взор... пожалуй, слишком мягкие – м-м... недостаток воли? Он не производил впечатление счастливого человека.

...*Слабо эгоистическое лицо. Как он смог противостоять Бонапарту?*

(Перед тем почему-то возникла физиономия конюха. Тот талдычил свое: «Почему нельзя? Обязательно можно!» Ленивая балда!)

– А-а! – молвил царь. – Это ты? Ты, говорят, пишешь неплохие стихи!

Александр поклонился в скромном замешательстве.

Кроме Фотия, говорят, там вертится еще какая-то графиня Орлова. (Из тех самых Орловых?). Это она свела царя с Фотием. Интересно бы увидеть эту кликушу нагой. Должно быть, совсем холодное тело. Жопа в пупырышках. Холодное тело, беззвучное тело!..

Александр Павлович был хорошим собеседником...

– Это ты написал оду «Свобода»?

– Я. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на... а от хороших, при зна юсь, и силы нет отказываться! Слабость непозволительная!

Сквозь темные призмы уцелевших листьев пестрело сырое небо. Осеннее небо в России спускается почти до земли – такое большое, такое печальное. Хотелось тепла. Причудливой новизны горных кряжей. Где каждый поворот сулит неожиданное... И моря, моря! Чтобы волны у ног, волны у ног! (*У чьих?*)

С Криднершей они разминулись в Крыму. *Спустя три года – Скитаясь в той же стороне...* Она приехала в Крым, он слышал – года на три позже его. И умерла где-то в Кореизе – в начале уже этого года. Во втором томе книги он нашел чью-то надпись: «Мадемуазель Ольге Алексеевой. Увы, одно мгновение, одно единственное мгновение... всемогущий Бог, для которого нет невозможного; это мгновение было так прекрасно, так мимолетно... Чудная вспышка, озарившая жизнь, как волшебство...» *Кто это писал, кому? Кто-то. Который тоже любил!* Он отчеркнул ногтем то место в книге, когда в Венеции, на мосту Риальто, граф М. – муж Валери – при де-Линаре выражает свой восторг перед какой-то женщиной, тем самым как бы сомневаясь – в красоте своей жены. «**Ну, да... Валери молода, у нее живая физиономия, но ее никогда не заметят!**» И де-Линар страдает от этого. *Прекрасно! И как натурально! «О, Валери! Насколько больше любил бы я тебя!» – Вот это – это самое!*

Он начал размышлять о романе вообще. – *«Не роман, а роман в стихах – дьявольская разница!»* – повторял он про себя, хотя и плохо представлял пока – что это за разница. Теперь казалось, что самой мысли о *«рано остывших чувствах»* и *«преждевременной старости души»*, одной лишь встречи – души невинной с душой перегоревшей – этого мало, мало! План романа по-прежнему смущал его. Конечно, *лучше стихи без плана, чем план без стихов, но...* Он был в положении человека, который, облекшись в непривычные одежды – не знает – куда девать руки, походка как бы не та...

Роман воспитания? Странно, но последнее время он все меньше тянулся к Байрону! Больше к Гете и Шодерло де-Лакло.

Мефистофель не способен стать учителем в чувстве, он лишь насмешник – над человеческой чувствительностью. Он сам не разочаровывался никогда – ибо никогда не был очарован. Что за стремление погружать других в пучины собственных разочарований и бед? (Он снова и снова вспоминал Раевского.) – *«Сноснее многих был Евгений – Хоть он людей, конечно, знал – И вообще их презирал – Но (правил нет без исключений) – Иных он очень отличал – И вчуже чувство уважал»...*

– *Почему мужчины так склонны учить чувствованью других, менее опытных, необстрелянных?.. Женщинам это меньше свойственно, хотя...* (Но довольно ли он знает женщин?) А госпожа де-Мертей? («Опасные связи».) *Нет! Там, скорей, обмен развращенностями – не опытом. Французы явно почитают область чувств своим национальным достоянием! Как виноградную лозу со склонов в провинции Коньяк! Природа чувства столь тонка, по их мнению – что может возникать, лишь как клеточка в горле галльского петуха – со всеми там вибрациями и модуляциями.*

Почему вообще люди любят внушать другим собственное разочарование?..

– Но ты, как выяснилось, еще и афей! Это совсем уж никуда не годится!

– Ваше величество, как можно судить человека по письму, писаному к товарищу... да еще в определенном настроении... школьническую шутку взвешивать, как преступление, а две пустые фразы – как всенародную проповедь? Был момент – я усомнился в одном из положений религии...

– В каком?

– В существовании загробной жизни. Это не называется афеизмом. Оттуда ж никто не возвращался – дабы подтвердить...

– *Что делает там Раевский? Но он же – ее кузен, брат!.. Хотя... кузен – не совсем брат!..* («Она, к сожалению, без памяти влюблена в моего сына. Заметили? Что они там делают – вечно вдвоем? Она, считается, его кузина, но...») – вставляла Прасковья Александровна из Тригорского.) Какое-то множественное «мы» изнутри подтачивало письмо! *«Мы гуляем, мы вспоминаем...»* «Чего же больше там – гуляний или воспоминаний?.. Впервые сомнение коснулось его. Нет, конечно, он знает друга, он верит. Пусть холодность, мрачность... презрение ко всякой романтике... пусть! – но дружба? («Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы... – Что есть, избранные судьбами – Людей священные друзья...»)

– В загробной жизни? В этом я тоже сомневался. Я и сейчас... Молчу! Если б ты знал, как много я сомневался в молодости! Теперь за это надо платить...

Одно сожжено – другое не написано. Болталось несколько строк в прозаическом изложении – да и тех он никак не мог найти. (Он записал их после Пскова.) *«Я знаю, что вы презираете... Я долго хотела молчать – я думала, что вас увижу. Придите, вы должны быть и то, и то... Если нет, меня бог обманул, и...»* *Что-то в этом роде. Чушь какая-то!*

Письмо девушки – к тому же семнадцатилетней, к тому же влюбленной!..

Схолия

Есть в Первой главе «Онегина» две строфы, которые и сейчас кому-то кажутся избыточными, чуть не лишними. «Роскошеством» автора. Меж тем, они имеют особый смысл и очень важный!

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда среди пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска. Опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор вошебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

Эти две строфы, следуя одна за другой – обнаруживают главную особенность композиции романа. «Все в жизни – контрапункт, то есть противоположность» – говорил М. Глинка. – Если вдруг задаться целью разделить этот текст, как в хоре, на голоса героев книги, тем самым превратив его в драматический – первая строфа будет несомненно звучать «на голос» Ленского, а вторая – Онегина. Но обе при этом принадлежат третьему персонажу – Автору как герою романа. *«Пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разнища...»*¹²

В Тригорском он привязывал коня к дереву – в парке, внизу – бросал на ходу кому-то из слуг, чтоб покормили – и почти взбегал на холм. В доме часто его уже ждала сестра Оленька и смотрела с беспокойством. Он был мрачен и мрачность невольно разливалась вокруг. Она тоже чувствовала, что гроза в их доме вот-вот грянет – и была напугана. Иногда ему хотелось поделиться с ней. Просто рассказать – как все было. От чего он бежал – то есть, его заставили бежать из Одессы. Что оставил в степи – в немецкой экономии Люстдорф... Но иногда, даже хочется открыться – да язык присыхает и никак не произнести первых слов...

– *Насколько больше любил бы я тебя!* – Т. – Татьяна, Л. – Люстдорф... *Скажи, которая Татьяна?... Нет, ты – не Татьяна, ты – другая!*.. Теперь он не был уверен – он сам не знал, где кто, кто где. Две пары женских ног ступали за ним – и пришли сюда, и блуждали неприкаянно – среди мокрых осенних трав и повядших желтых листьев и стайки юных женщин, которые были не нужны ему. «...только вряд... найдете вы в России целой – Три пары стройных женских ног!..» И одни ноги были длинны и нежны... так, что страшно прикоснуться, а другие... сама полнота бытия! – *Я думал, что умру – от аневризмы или в дуэли... а, кажется, умру от твоих икр!*.. – сказал он ей или только собирался? – он не помнил.

Он повыписал из Петербурга, сразу по приезде – множество модных нот, и теперь был сам не рад: девчонки бойко разыгрывали все это на невысоком плоском фортепьяно, порядком расстроенном, бренчали – соревнуясь меж собой и заставляя себя слушать. У него был хороший слух, и он тихо зверел и улыбался наружно. *Разыгранный Моцарт или Диц – Пер-*

¹² Вообще слово в романе точно служит подтверждением известной теории М. М. Бахтина – о «романном слове», – по которой автор как бы постоянно перемещается в своем авторском тексте (и в своем сознании) из словесной области одного героя в другую, и языковой ряд так же движется – от персонажа к персонажу. Автор убеждает нас на каждом шагу, что в жизни эти герои, как правило, в нас соединены, и лишь книга, как некая условность (внешний сюжет) – способна разделить их...

стами робких учениц... Он вспоминал, что было, когда *Она* садилась за фортепьяно. Нельзя, конечно, сравнивать жену наместника, потомицу гетманов польских – добрый десяток лучших учителей – с провинциальными русскими девочками, хоть тоже – польских кровей – несправедливо! – но он не брал себе патентов на всеобщую справедливость!

«Почему она поет так страстно, если сердце ее не знает любви? Откуда берет она эти звуки? Им учит страсть, а не одна лишь природа...» – он отчеркнул это ногтем. Дважды...

Переживший и не раз любовь неразделенную – он тяготился, как все мы, когда внушал ее сам. Аннет! Вот, и красивая девушка – и... Очевидно было, что она влюбилась в него – но выражалось это дурно. Она допекала его слезкой за ним... – Александр, вы уже вымыли руки? – Александр, вы без салфетки! – Вы еще не отведали моего варенья!.. А ему все мешало, что не было Одессой, Люстдорфом, морем... и ожиданием письма. *Зачем вы посетили нас – В глуши забытого селенья – Я никогда не знала б вас...* – Но вернемся к оде, – говорил царь Александр своему тезке – тоже Александру. Ты там осмелился трактовать некоторые вопросы, которые...

– Что ода, государь! Это – детские стихи. Всякое слово вольное или противузаконное приписывают мне, как все непристойные стихи Баркову. Между прочим, достоверно известно, что знаменитый «Лука Мудищев», прошу прощения, – сочинение вовсе не его. Я бы мог предложить вашему вниманию «Руслана и Людмилу» – хотя бы только песни Первую и Шестую, если уж время не позволяет вам прочесть все. Или первую часть «Пленника». Или «Бахчисарайский фонтан»...

...У Аннет, к тому ж, была ужасная манера с важностию прорекать общеизвестное.

При ней называли: – Байрон. Она переспрашивала: – Джордж Гордон? Или – Моцарт... – Вольфганг Амадей?.. Он глядел на нее – в глазах ее было что-то жалкое, как бывает у человека – неспособного, при всех усилиях – шагнуть за какую-то преграду: *Поверьте, я молчать хотела – Поверьте, моего стыда – Вы не узнали б никогда – Я с ним бы умереть умела – Когда бы даже в месяц раз – Незамечаемая вами...*

Речь шла об осенней ярмарке в Святых горах, и каких товаров там можно ждать нынче.

– Представляю... Опять съедется весь новоржевский бомонд! – морщилась Прасковья Александровна.

– Что делать? – вступала Аннет. – На ярмарку всегда съезжается много народу – из разных мест, всем нужно что-то купить – на то и ярмарка!

– А «Фонтан» – это о чем? Я, как бабка моя покойная, императрица Екатерина – любитель фонтанов.

– Поэма о любви, ваше величество!..

– А-а... о любви! А разве она существует на свете?..

– И скоро еще выйдет «Онегин»... первая песнь! Я с удовольствием... на суд вашего величества... в библиотеку... Иван Андреевич Крылов... два экземпляра!..

– Александр, давайте померяемся талиями! – изрекла вдруг Евпраксия-Зизи, в головку которой всегда лезли самые необыкновенные мысли.

– То есть, как?.. – смутился Александр, которого не так просто было смутить.

– Обыкновенно! – сказала Зизи и откуда-то достала материн портновский метр. Прасковья Александровна несколько увлеклась шитьем. Хотя, странно... шила обычно только для себя. Для девочек – заказывала... Евпраксия у всех на глазах обмерила себя – зачем-то сперва бедра, почти детские еще – а потом талию. Талию – особенно серьезно... Мать хотела прервать это не совсем приличное действие – но улыбнулась – и не стала. Пусть себе! Нижняя губка ее вздернулась и застыла чуть горько – точно в зависти молодой свободе. У девчонки такая талия – что она может позволить себе!..

– Ладно! – сказал царь. – Ты мне вот что скажи... Как вышло, что ты легко сдружился с Инзовым и не смог ужиться с Воронцовым?.. Который, считается, уж такой либерал!..

– Ваше величество, генерал Инзов – добрый и почтенный старик, он русский в душе, он не предпочитает первого английского шалопаю всем известным и не известным своим соотечественникам!

– ... *еще могли быть некоторые причины, чтоб ему не хотелось тебя понимать – не так?* Голос Элизы был нежен. Экипаж удалялся к Одессе – в никуда, колеса постукивали: жизнь-смерть, жизнь-смерть.

Но... как всякий молодой человек – да и не только молодой – просто влюбленный – Александр не способен был ни на минуту взглянуть на все глазами Воронцова. Могли быть причины, не могли – какая разница? Ему нужна была ее любовь – вот все! Ему не хватало любви!

Граф так верит ей, так легко покидает ее – оставляя ее, Валерию с де-Линаром! Но тот граф – не этот! «И, однако она прикасалась к его груди, он вдыхал ее дыхание, ее сердце билось рядом с его сердцем, а он оставался холодным как камень... Как, – говорил я себе, – в то время, как за один ее поцелуй я заплатил бы всей своей кровью, но он не ощущает своего счастья...» Он попытался представить себе надменного чиновного Воронцова – вечером, в халате... домашним, расслабленным, может, даже – ласковым? Обнаженный Воронцов! У него сводило горло. *Наверное же, он что-то говорит ей? Должен говорить! Увядший, стеснительный? Возможно, и она что-то... Кричит, шепчет... Возможно, те же слова! Невозможно, невозможно!..*

– Теперь вы! – сказала Евпраксия властно – и обернула его метром. Александр ворочался послушно.

– Не может быть! – воскликнула Зизи, – еще раз без стеснения обмерила его. При этом полудетский живот ее совсем уперся в него...

– Что – не может быть? – спросил Александр.

– Послушайте! У нас с Пушкиным – талья одинаковые! – торжественно оповестила она всех.

– Ну, это значит... одно из двух... или у вас талья не совсем молодого мужчины – или у меня – талья молоденькой девушки!.. – Все смеялись.

– В самом деле! – сказала Зизи – и почему-то посерьезнела – так, словно было о чем подумать. Аннет смотрела на них жалобно и тоскливо... *Души неопытной мечтанья – Смирив со временем, как знать – По сердцу я нашла бы друга... – Быть может, не нашла бы друга...*

– Нашел с кем связываться! Да он же упрям, как кляча – твой Воронцов! В Тильзите его полк должен был охранять меня – так он сказался больным! Видишь ли, потому, что он – англоман и терпеть не может Бонапарта. Не дал себя увлечь даже любопытству! Это – когда многие мои офицеры, тайком от меня – я-то уж знал! – переодеваются в статское – только бы попасть в Тильзит и узреть воочию – властителя полумира!

Как-то перед вечером – или в начале вечера, сидя за общим столом – в зале – среди общего шума – и уверенный, что все сидят за столом – он вышел в другую комнату. Хотелось побыть с собой. Не глядя открыл дверь в соседнюю и... натолкнулся на Прасковью Александровну, примерявшую платье. Она стояла перед зеркалом – и как-то замедленно вертелась перед ним – один бок, другой. Увидела его, чуть смутилась – но не прогнала, только чуть отодвинула от себя шандал со свечами. Став больше силуэтом самой себя... Капора не было. Платка тоже не было. Копна распущенных и все еще пышных волос – упала на плеча. Платье было открытым – может, слишком – по возрасту. Нагие плечи, грудь... И шея – боже мой! Выдвинутая губка Марии-Антуанетты, делавшая ее порой некрасивой – сейчас была полуоткрыта, как для поцелуя. Он вздрогнул.

– Ну как? Мне идет? – спросила она и вновь повернулась к зеркалу.

– Очень! – сказал Александр искренне. – Очень!..
– Вот... а вы все считаете... – не договорила.
– ... что я старуха! (слышалось и без слов).

Правду ль говорят, что вся французская революция произошла от ненасытности Марии-Антуанетты? Так рушатся царства!..

Она так и стояла, как он застал ее – прижав ладонями бедра, чуть вытянув руки и несколько приподняв платье.

– Иногда знаете, кажется, что не все потеряно... а иногда...

Она улыбнулась – и протянула ему руку. Подумав – протянула обе. Он поцеловал их по очереди – как целовал руки только нравившихся ему женщин. У него чуть кружилась голова.

– Спасибо! – сказала она. – Спасибо!

Он поклонился и вышел, смущенный... точно подглядел нечаянно то, что не следовало видеть. *Старушка Ларина? Два брака – и нет счастья! Боже мой – что это такое – счастье?! Наверно – самая мудреная вещь на свете! Или самая трудная...*

В зале девочки насильовали рояль, грохот ворвался в уши. Он рассердился. Не сильно...

«О, Валери! В то время я с гордостью ощущал биение своего сердца... которое умело так любить тебя!»

...книгу будет трудно возвращать – никто ж не поймет, почему – он так испещрил ее подчеркиками?.. *«Хранили многие страницы – Заметки резкие ногтей...»* С тех пор, как он стал писать «Онегина», вся его жизнь, как навоз – сделалась удобрением этому роману. Он все готов был отдать ему, отделивши от себя. Такого еще не было! То, что сперва казалось легким изыском... заигрываньем с читателем – чуть не светской болтовней с ним – становилось *природой* книги. Его *самобытие* невольно поселилось в романе. Он сам возник где-то – меж Онегиным и Ленским – *пора меж волка и собаки...* – и, право, не знал, что делать с собой. *Всякий персонаж должен куда-то двигаться. От чего к чему? И куда идет он сам?..*

«Вся жизнь моя была залогом – Свиданья нашего с тобой, – Я знаю, ты мне послан Богом...» – он знал, что оно уже написано – это письмо.

«– Я не расстанусь с вами, мне еще столько нужно вам сказать! – Она закрыла за собой дверь, а я упал в кресла, уничтоженный этим звуком: мне показалось, что вселенная рухнула...

Насколько больше я любил бы тебя, Валери!..»¹³

Схолия

* Подробное исследование пушкинских помет на экземпляре романа «Валери» Юлии Крюденер принадлежит Л. И. Вольперт¹⁴. Здесь использовано это прочтение. Правда, автор книги «Пушкин в роли Пушкина» считает пометы неким слитным «лирическим письмом», составленным из подчеркнутых мест и обращенным к А. П. Керн. Это кажется сомнительным. Адресат вряд ли назван верно (Это станет ясней, когда у нас здесь появится сама Анна Керн.) Весь контекст отношений с Керн лета 1825-го (начиная с заочного этапа – переписка с Родзянко) – в самом деле, отдает «игрой», «игровым поведением», о котором прекрасно говорит автор книги, что как-то не соотносится с тональностью «нежного романа», каким является «Валери». За этими пометами стоит иная, *трагическая* история любви. И почти несомненно – это история любви к Е. К. Воронцовой.

** Надо сказать, несмотря на более чем полуторастолетнюю историю изучения «Онегина» и обширнейший корпус черновых набросков к роману – сама история создания его до конца не известна по сей день. Начало, и впрямь, наверно, было несколько поспешным и слу-

¹³ Юлия Крюденер. Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г... Сер. «Лит. памятники», М., 2000 г.

¹⁴ Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М., 1998. С. 77–85.

чайным. («Пишу роман, в котором забалтываюсь донельзя...»). Можно утверждать, что плана, как такового, еще не было – во всяком случае, того, по которому после развился роман. Вряд ли Пушкин даже знал, к примеру, начиная его – что Онегин убьет Ленского в дуэли. «Трагедия победы» – по точному выражению Ю. Лотмана – это придет потом... Нужно было пережить серьезнейшую личную – а потом и общественную драму, чтоб роман стал диктовать автору свои законы...

Вставная глава I

Царям живется на свете не легче, чем их подданным. Император Александр, о котором его тезка в Михайловском все чаще думал в последнее время (это ж он его упек в эту дыру за строчку глупого письма, чем привел в великий страх его отца!) – вряд ли помышлял о нем. У Александра-государя были другие дела и заботы. Примерно, в те же дни, что мы описываем здесь, – в первой половине сентября 1824-го, в Царском – он сидел, уединившись с женой-императрицей, Елизаветой Алексеевной, в одной из комнат, примыкавших непосредственно к кабинету, и предавался карточной игре. – Это сделалось частым, с некоторых пор, послеобеденным их времяпрепровождением. Ломберный столик, богато инкрустированный уральскими самоцветами, разделял играющих, мольберт, придвинутый к столу, напротив, был совсем прост, похож на художнический, только с грифельной доской – на ней отписывались фиши. Государь как-то брезговал писать мелом на сукне пред собой: он был сноб...

Игра называлась – «безик». В России вечно норовят сместить французское ударение с последнего слога: вообще-то, «безик», конечно. Безик. Бэзик. Игру он вывез из Франции, из Парижа, как трофей – и она, среди прочего, напоминала о том, что он взял Париж. (Тоже приятно!) Его самого учила играть покойная Жозефина – отставленная жена Бонапарта: с ней Александр сблизился в последние месяцы ее жизни, которая так внезапно оборвалась (с тоски, наверное). – Как с ее дочерью Гортензией (от первого брака), королевой голландской... (Это было, когда сам Наполеон водворился уже на Эльбе: еще до «ста дней» и Ватерлоо!) – Этот чертов Бонапарт умудрился расплодить по всему свету невесть откуда взявшихся королей и королев – и Александр был чуть не единственный в коалиции противников его – кто стоял на том, что надо, елико возможно, оставить все как есть – если это не мешает интересам общим. (Вообще, семья Бонапарта – и все, что связано с ним, – занимало в его жизни непонятное место... Союзники пугались, приближенные морщились. И пытались объяснить его почти физической неприязнью к Бурбонам, которых он, как называли тогда, сам и «привез в обозе править Францией», хотя обоз был не его, – или политическими соображениями. И все правда – и Бурбонов он не терпел, и политических соображений было хоть отбавляй – начиная с Польши, но...)

Впрочем, безик как игра в России не привилась – во всяком случае, ему не докладывали, чтоб в нее играли. Тут предпочитали «пикет». (А он, как самодер жец, все ж интересовался порой – и тем, во что играют в приличных российских домах: он считал, это входит в круг его обязанностей.)

– Марьяж! – сказала тихо жена, глядя в карты. (У нее уже было четыре взятки, и она была вправе объявлять.) Император галантно прибавил на доске еще двадцатку к ее фишам. Кургуазное действо... Марьяж был некозырный: с ее руки, всего – король и дама одной масти. И сидели визави тоже – дама и король одной масти: оба блондины. Игра ничего не значила для обоих – кроме отрешенья от забот, совместного одиночества и параллельного течения мыслей.

К императору покуда карта не шла. Сейчас он взял в талоне – семерку козырь – и, согласно правил, сменил ею открытый на столе валет червей. Пошло в запись – 10 плюс 10. Он был еще без четырех, объявлять не мог, да и нечего: две десятки и мелочь, годится только сбрасывать. Но зато был валет – стоит побережь для козырной квинты. Игра шла в две колоды...

Императрица Елизавета Алексеевна – некогда баденская принцесса Луиза – не была уже, конечно, той несравненной европейской красавицей, которая некогда, в ранней юности, – сумела покорить весь дворец Екатерины, привычный к красоте – всех безумно волновали ее открытые легкие платья под антик: не облегающие фигуру, но словно наброшенные небрежно; диадемы, венки и простые цветы в волосах – Психея, Психея! На свадьбе так и говорили: – Психея и Амур (Амур был Александр.) Они в самом деле походили на золотую пару. И лишь отец жениха – великий князь Павел – все еще великий князь – стоял, насупившись, и не разделял общих восторгов. Он был явно зол – конечно, как всегда, на мать-императрицу, но распространялось это решительно на всех – в том числе, на них двоих. (Он вообще не хотел приходить на торжество – его уговорили. Он прекрасно понимал, что Екатерина женит внука так рано, чтоб попытаться вырвать трон из-под тощего зада нелюбимого сына.)

Амур и Психея... Сейчас Элиза сидела, чуть откинувшись – слишком прямая и точеная, но с робостью во взоре, как всегда почти в присутствии мужа. Она за многое могла считать себя виновной перед ним – хотя и не хотела исчислять свои вины. Так сложилось, так сложилось!.. Даже нынче лишь самый пристрастный взгляд мог сыскать в ее пепельных волосах седые прожилки... Александр же, в последние годы, стал полнеть – был в мундире, чуть расстегнутом по-домашнему, и округ известной лысины («плешивый щеголь») в светлых с рыжинкой прядях седина всю светилась.

– Вы нынче смотрите как богиня! – сказал он с прохладной нежностью.

Она улыбнулась улыбкой несчастливой женщины. Она знала, что выглядит неважно (она преувеличивала). Но муж ее был странный человек, особенно с женщинами – (и странности его давно сделались притчей во языцех при всех европейских дворах) – и именно теперь, когда она постарела и подурнела – уделял ей все больше внимания и откровенно переставал замечать других дам – что, на первых порах вызвало чуть не смятение при дворе: даже старые величавые роконосы, владельцы породистых жен, что могли вроде наконец, вздохнуть спокойно – волновались: к тому, прежнему Александру они привыкли – а нынешний? (Всегда не знаешь, чего ждать, когда власть меняет привычки!)

– В свете все больше разговоров про...

...сейчас начнет про Фотия! Не надо! Он сам все знает про Фотия!

– ... что будто этот монах...

– ... занимает все больше места в моей жизни! – договорил он за нее почти весело. И добавил легко: – В нашей жизни, дорогая, в нашей!

– И что Анна Орлова...

– Графиня Орлова! – любезно поправил он, выбирая карты из талона.

Не кто иной, как эта Анна Орлова – и свела его с Фотием.

– Она – из тех самых Орловых?

– Конечно! Не зря ж она мужеподобна! Пошла в своих дядей! – и улыбнулся знаменитой своей очаровательной улыбкой, которую решительно все, кроме нее, его жены, считали лукавой.

– А вашему свету следовало бы больше заниматься собой! А не мной и моей жизнью. И не вашей тоже. (Тон был элегический.) Отмаливать грехи хотя бы. У них, я полагаю – их не меньше, чем у нас с тобой! – «Ты» они говорили друг другу редко – чаще, когда возникала опаска ссоры. Впрочем, сейчас ею и не пахло – промельк досады и только.

...она знала – что он хочет отмолить (и чем дальше – все больше). Проклятый вечер и ночь, когда они вместе ждали исхода заговора против его отца... Это было ужасно – право, ужасно – но в этом, как раз, в своей жизни – он был повинен меньше всего... Император Павел сошел с ума – все знали, – ходили слухи, что он вот-вот завещает престол племяннику из Германии, а сына-наследника заточит в крепость вместе с матерью-императрицей (которая после так безумно рыдала на его похоронах). И Александру ж было твердо обещано, что отца

попадают – только заставят отречься!.. Но потом, потом... все офицеры, бравшие участие в действе – рассказывали, что, когда вошли в спальню Павла – все предстало в ином свете, и... что сами не поняли – как все произошло... Но это она, Элиза, была с мужем – в тот вечер и ночь. И отирала его слезы, и даже отдавала распоряжения за него. Какие он сам в слезах – не в силах был произнести. Хотя... она как женщина – и это тоже все знали – в ту пору уже не принадлежала ему.

Потом они немного разогрелись игрой, и он уж был при четырех – и мог объявлять и стал зреть впереди некие комбинации...

– Теперь и у меня – марьяж, дорогая! Ба! да еще марьяж!.. – он с детским удовольствием озирает карты, взятые в талоне.

...она помнит, как он впервые поцеловал ее. Пытался. Было страшно и влажно. А она испугалась, что у нее, верно, слишком прохладные губы. И руки – чистый лед: ей было тринадцать! Она после стыдилась себя, что была слишком холодна – и, совсем уж позор – после долго полоскала рот. Она написала тогда матери:

«Боюсь, ему теперь захочется все время целовать меня. Что делать? «Они еще были только помолвлены...»

Она прикрыла рот платочком, покашляла. Он вздрогнул. Он часто слышал прежде такой кашель у Софи... своей дочери от Нарышкиной... А теперь Софи нет... Саму Элизу, похоже, ее кашель – не пугал, только смущал. Он недавно говорил о ней с врачами. Ничего хорошего!

...стеснительная недотрога! (теперь она презирала себя). Она понимала, что ничего не могла ему дать тогда – поначалу. Их оженали слишком рано. Ей было четырнадцать, ему – шестнадцать. Нет, сентябрь – шестнадцати еще не было! Двое детей – заключенных против воли в железные колодки царств и царственных интриг. Выдумка бабки Екатерины. Элиза была девчонка: – Ой, больно! Ой, щекотно!.. Не трогай волосы – они искрят! – А он – мальчишка... которому нужна была женщина. Ему не хватало ни сил, ни терпения – раздуть этот тлеющий костер.

– Вам никогда не вспоминается бедная Криденер? – спросила она, помолчав.

– А почему я должен вспоминать ее?.. – но сдержался и кивнул благожелательно: – Она умерла в Кореизе, в Крыму, весной. Мне докладывали...

– ... потому что это вы выгнали ее из Петербурга по наущению Аракчеева и вашего отвратительного Фотия! И отказали в аудиенции, даже тайной – и тем сломили ее!.. – но не произнесла – только подумала...

– Но я – православный государь, дорогая! – потянулся и поцеловал ей руку. За сим шел целый полк несказанного: – И я не мог допустить, чтоб офицеры мои переходили в католичество! Пусть даже экуменического толку. При всей моей симпатии – к мадам Криденер!..

Эти двое были вместе Бог знает сколько лет – все знали друг о друге – или почти все – и могли едва лишь трогать клавиши разговора. Одни аккорды. За которыми прячутся целые мелодии. Он сам клонился некогда к идеям мадам Криденер – но потом, потом...

– Но вы ж писали, как будто, про нее маркизу Паулуччи!.. Вы сами мне рассказывали...

– Писал! – согласился он кротко – уже вслух, и добавил тверже:

– Так в один прекрасный момент у меня могла оказаться под рукой католическая армия!..

Его округлый по-женски подбородок с ямочкой – глядящий со всех дворовых портретов бабки Екатерины, дышал удивительным упрямством! Впрочем, сама Екатерина, верно, тоже была упряма, иначе б...

Маркизу Паулуччи, генерал-губернатору Прибалтики, он, в самом деле, когда-то написал: «Пусть каждый молится, как хочет, лишь бы молился!» (речь шла о Криденер и ее сторонниках в Риге). *Что они все понимают? Наши обязанности, наши зависимости – чтоб не сказать – наши грехи...*

– Признайтесь, все-таки... ее отличала истинная вера! Не то что...

– Ах, Элиз! Кто знает в этом мире – что истинно, что не истинно?..

– Простите его! Его равнодушие – все простите! Мы – женщины, рождены, чтоб прощать! – Выцветшее личико – складка у губ – словно резцом. Зубов явно нет – или почти нет... Уста, созданные для поцелуев, превратившиеся в узкую щель – в Аид?.. (*Ужас, что старость делает с нами – женищинами!*) – Варвара Юлиана Криденер, урожденная Фитингоф. Религиозная экзальтантка и автор знаменитого романа. Они встретились в Вене, в четырнадцатом году, во время конгресса (еще до второго пришествия Бонапарта). Прежде Элиза зачитывалась ее романом (там была любовь, какую она ждала всю жизнь) – делала даже выписки в дневнике – и была теперь счастлива встретиться с автором...

...и при всем том – необыкновенно большие глаза. Пламенные взоры. (*Кто гасит в нас это пламя?*) А волосы слабые, нежные – невьющиеся, лишь слегка подвитые у висков и свисающие комочками из-под капора... У Элизы сей момент ни одного даже марьяжа не складывалось... Она кашлянула и уткнулась в карты.

(У нее самой – волосы были безумные. Сумасшедшие. Вся сила в волосах – как у Самсона. Ими любовался весь двор. Ими захлебывались в стихах. Сам Бог был парикмахером! Пепельное руно. – Их трудно было расчесывать, из них сыпались искры. – К моим волосам нельзя прикасаться! – говорила она. Кошка – которую нельзя рискнуть погладить по голове: в головке обитают молнии с небес.)

Их дружба с Криденер возникла разом – и задышала порывисто, как может задышать только дружба двух женщин. Так было когда-то в юности с молодой Головиной – ее подругой, ее вторым «Я»... Нет, там было другое! – Безумие – почти что адюльтер с женщиной (сейчас стыдно вспомнить). При встрече они кидались друг другу в объятия и целовали друг друга... В шею, в глаза, грудь... Они были почти целое. (Бог мой – если б этого ей хватило тогда! Если бы хватило! Это было еще до – первого ее, Элизы, истинного падения.) Криденер, как старшая – была ее confidentкой. Исповедником. Первым, кстати, в жизни – кроме матери. У Элизы в ту пору в Вене – были страшные минуты. Муж почти откровенно третировал ее – хоть сам и вызвал ее сюда. Он, кажется, впервые за их жизнь явил ревность – и это было не легче, чем прежнее оскорбительное отсутствие ее... Сам же был постоянным ночным посетителем вдовы Багратион, хоть и не единственным...

– Я много любила, – говорила ей Криденер. – И страсти обуревали меня. Я бросала мужа – человека замечательного, боготворившего меня... ради людей, которые, увы, не стоили его истертых башмаков. И которые оставляли меня – как только добивались своего. Жизнь женщины! Я страдала – и я приносила страдания. И что же? Поняла, в конце концов, что все страсти – несут нам только муки, и единственная любовь на свете, которая стоит своего названия – она небесного происхождения!

– Элиз! Следите за игрой! – сказал он строго, – она взяла лишнюю карту в талоне. – Мне придется штрафовать вас! – он, кажется, увлекся игрой...

– Ах, в самом деле! – смутилась она.

– ...смущенная девочка. В пятнадцать была такая – и в сорок. За сорок! – подумал он не то, чтоб злобно – но не сказать – приязненно, и с явной неохотой списал с нее 50 фиш. Игра есть игра! – *Из-за этой вечной стеснительности – она проиграла жизнь. И его жизнь тоже!* Она покашляла. Раньше кашель Софи рвал ему уши и надрывал душу. Бедная Софи! В восемнадцать лет! На пороге брака. Впрочем... может, это избавило ее от многих разочарований?

...Первым из придворных, который посмел ухаживать за ней, Элизой, всерьез и откровенно, был Платон Зубов... (Была еще жива бабка Екатерина.) Графиня Шувалова не раз приходила к Элизе посланницей от него. Как это по-русски зовется? Сваха... Ее Александр тогда страдал по молодости. – Или делал вид? (После он так легко уступил ее Чарторижскому!) Во всяком случае, историю с Зубовым они переживали еще вместе. В отличие от всех прежних фаворитов и собственных братьев – Платон был невелик ростом. Платоша. Маленький купи-

дон – только и знающий – что метать стрелы. Керубино из пьесы Бомарше. Но только упивающийся своим могуществом. – Дитя порока. Что нашла в нем великая императрица? Наверное, только молодость!

Александр дотронулся до ее руки.

– Вы что-то грустны сегодня?

– Нет-нет! немного болит голова!.. (И кашлянула.)

– А-а... Может, перестанем играть?

– Нет, что вы! Я хочу! Я хочу побыть с вами... с тобой!..

...весь двор следил – когда она сдастся. Сама бабушка-любовница наблюдала с интересом: за Зубова она не боялась – куда он денется? До власти он был сластена – еще больше, чем до женщин. Да и ей было поздно ревновать. Она пыталась ухватить последние радости. А мальчик-внук должен стать, наконец, мужчиной! И мужчине надо уметь справляться – и с такими напастями, как измена жены – или хотя бы призрак измены... Иначе... Старуха хорошо помнила, как все началось у нее...

Атаку Зубова Элиза отбила легко. Не надо путать мужчину с купидоном! Она это понимала, хоть была еще совсем юна. Притом она думала тогда еще, что любит мужа – той самой любовью. О которой не имела, как выяснилось вскоре – ни малейшего представления. И откуда у нее была – Головина...

...Бедная Софи! Этим летом. – Он еще никак не мог прийти в себя. – Он был на смотре, когда получил весть. (*Какого полку? Не помню, не имеет значения!*) – Он должен был остаться – смотреть прохождение колонн. Это казалось страшно важным. Что такое государь? Это – несвобода. Самый несвободный из всех своих подданных! Глаза слезились. И нужно было притворяться – что это от ветру.

...Он был странный мужчина! Ей мнилось иногда, его волнует именно женщина после кого-то. Почему он так легко уступил ее Чарторижскому?.. (Кстати, тогда – его лучшему другу!) Он продолжал приходить к ней в постель, твердо зная – что она принадлежит другому. И даже настаивал порой с педантством – на своем праве. (Кому он мстил? Ей? Чарторижскому?) – А с Чарторижским в Вене она снова встретилась. Спустя много лет...

– Марьяж! – объявила она, обрадованная, что может, наконец, выразить свою причастность к игре. Он с охотой отписал мелом.

...он и возмутился-то ею – всего один раз. Да и то... смущенно выразил вслух. Не более. Когда родился ее первый ребенок – девочка, – Александр сказал графине Ливен, державшей ребенка: – Вы видели когда-нибудь, чтоб отец с матерью были блондины, а ребенок – брюнет?.. Был самый момент крещения – священник смачивал как раз святой водой безукоризненный выпуклый лобик... Адама Чарторижского – такой же, только маленький! Мари родилась с длинными черными волосиками и черными глазами.

– Детей метит Господь! – ответила графиня строго. Он тоже был молод тогда и еще не понимал, как в жизни все перепутано – и вместе, и врозь... Государь Павел – еще был тогда Павел – тотчас услал Чарторижского за границу. И Александр чуть не плакал – расставаясь с ним. И вернул его тотчас – как сам взошел на престол... А девочка Мари умерла – всего году отроду... (Элизе не хотелось жить.) Сокрылась в небесах. Как после сокрылись все ее дети. В любви ли были зачаты, без любви...

Она взглянула на доску – Александру везло. Впрочем – еще что-то остается!.. (Она не вино вата, что попала в страну, где отец мог казнить сына, жена свергнуть мужа с престола и убить руками любовников, а сын... Не надо об этом! Она выросла в маленьком герцогстве – на берегу волшебного озера. Где никто никого не убивал. Где стоял зачарованный лес, и травы дымились чарами, и чары были воздухом детства. Там колдовали феи и в душах бродили добрые сны. Баденские принцессы – так звали их с сестрой. Она была в самом деле принцессой из сказки. – Покуда не оказалась в России!) – Покашляв, она медленно отвернула голову от

мольберта. А он, напротив, остановил на нем свой взгляд. Он немного рисовал в юности, он мог стать художником. Руки его были в мелу. (Они оба вспомнили одно и то же – и усмехнулись оба.)

Когда они познакомились и, кажется, она стала нравиться ему – он показал ей свои рисунки. Повел в свой класс, ставил на мольберт перед ней листы и картоны, заглядывал в глаза... Ему хотелось – чтоб ей понравилось. Он хорошо писал лошадей. Лошади были совсем, как живые – люди хуже. И пальцы у него были все в краске. Они посмеялись тогда – двое беспечных детей, не ведающих еще своей участи. На следующий день – или через день – он впервые поцеловал ее. Живопись он любил – но был равнодушен к литературе. Впрочем, кажется, все братья Романовы равнодушны к литературе...

...Он мог стать художником. Пусть даже средним – какая разница? Они бы тут бились, хватая друг друга за грудки – за власть, за царство... а он бы ходил, перепачканный краской – и посмеивался. (Он достал безукоризненный с вензелем платок и отер мел с пальцев.)

...Амур и Психея. Чарторижский научил ее любви. Какая бывает только в романах. Как в «Валери»! Нет, лучше. (Там ведь они даже не коснулись друг друга!) Недаром его звали Адам Адамович... Польская страсть и польская нежность. Амур и Психея, Адам и Ева. Такая любовь бывает только у побежденных! Где победителям – с их высокомерием? У них другие радости. Польская гордость – и польский пиетет перед дамой. Вечный полонез. В постели Адам говорил только по-польски. И был безумен, как все польские восстания. Эскадроны улан с саблями наголо – спускались с холма под русскую картечь... В полях горящие маки вставали над юными безумными головами. В постели он умел думать только о ней – и как даровать ей счастье... Она поняла это много после, когда его уже не было рядом. И когда они встретились снова в Вене – он все еще любил ее! Несмотря на то, что знал про Охотникова.

...И во всех ее грехах был виноват один человек – тот, что сидит сейчас перед ней, ее муж! Тот, который вел ее к алтарю. Который дал клятву перед алтарем... разве только ей? Богу! Что будет любить ее и оберегать. От всего на свете – и даже от нее самой. От ее безумных волос, в которых обитали молнии с небес!..

– Вы невнимательны, милая! – сказал Александр мягко.

– Простите!

Она снова обдернулась – взяла больше карт. Ошибка, ошибка! Он не любит ошибок. Сейчас он с наслаждением спишет с нее еще 50 фиш, но главное, поймет, что мысли ее отвлечены... На самом деле он не умеет прощать. Не умел никогда. Не прощает другим даже свои собственные ошибки. Может, собственные – более всего! Он всю жизнь ненавидел Кутузова – за Аустерлиц.

– Ах, Элиз! Элиз! В вас больше от любовницы – чем от государыни!.. Королеве ревновать к какой-нибудь Нарышкиной или к мадам Багратион... – Криденер морщилась – шутиливо и презрительно. Она звала ее «королевой» – на французский манер, – Элизе это нравилось. Она выросла в маленьком герцогстве, где людей было мало – и оттого люди были близки меж собой. Не то что в России – с ее пространствами и грехами!..

...Он быстро списал ее грехи с доски. Он недавно говорил с врачами. Она – в чахотке. Она не смогла родить ему наследника – а теперь была в чахотке. Смешение чувств: тяжесть, облегчение, смирение, почти неприязнь – и нежность, нежность! Хорошо, что ее юный *ami* – корнет Охотников – не видит ее сейчас. Слава Богу – нам не дано видеть тех, кто волновал нас в юности – когда они уже не юны и не прельщают! Правду сказать, и сам корнет, сейчас был бы не так молод! (Почему-то Александра эта мысль обрадовала.)

Кто убил его? Александр не знал. Полиция была бессильна – как всякая полиция. Понимал, что могут заподозрить его самого – какие глупости! С тем ли он смирился? Зависть чья-то убила! Это страшная штука – зависть!

...Как он без прекословий уступил ее Адаму? Что Адам? Лучше он, чем другой. Он рано понял для себя, что другой будет все равно. Адама он любил. Адам был его тайное тщеславие. Наследник русского престола, часами обсуждающий – с кем? с польским изгнанником! – как даровать свободу Польше. Он, конечно, увлекался или красовался слегка. Но эти разговоры смиряли его нелюбовь ко двору, при котором он жил и частью которого он был – хоть и считал это случайностью. Слишком много крови! Обманов, измен... Они все были ему чужды – даже обожавшая его бабка. А свобода Польши – хотя бы разговоры – было то, что отделяло его от них от всех... Только иногда он, не без коварства, улыбался про себя...

...Криденер – единственная, с кем она могла говорить про Охотникова. Мальчик, которого она сгубила. Просто... Адам, вернувшись из ссылки – куда его послал Павел – был уже не тот! И вовсе не полюбил другую женщину, нет – но стал отдаляться от нее. Слишком увлекся своей новой ролью при молодом государе. Министр иностранных дел... Это кого хочешь заставит измениться. Но Адам был особый... он был почти равнодушен к чинам... Просто надеялся в этой роли помочь возрождению Польши... (Бедняга! Как плохо он знал Александра!) И тогда ей захотелось снова – испытать на себе, как нисходит на нас небесный свод! Она больше не хотела быть ученицей в любви. Смиренной, благодарной... Но править бал сама и уроки давать – сама! Она была уже не девочка! Она вновь сосчитала свои шансы в игре. – Муж выигрывал – как всегда! И вовсе неправда, что учила его играть старая Жозефина! – Молодая Гортензия, вот кто! С Гортензией у него был роман! (С кем у нее только не было романов? Гортензия была охоча до этих побед не менее, чем ее отчим – до подвигов военных!)

...Много позже, на пути в Европу, заночевав в Пулавском замке Чарторижских – он осознал, кажется, – что влекло его к Адаму. Фольварки на холмах, перелески с березами и вербами, поля в колокольчиках, ромашки – все, как в России... только меньше, нежней. Все *напоминало* Россию... но было Европой! И Адам, в отличие от других вокруг – был чистым европейцем! И когда Александр впервые в восемнадцатом году узнал о заговоре против себя своих офицеров, – и что они ему ставят в вину более всего – именно его пристрастие к Польше, – он почти не рассердился даже, скорей, удивился. Как они прознали? Это была его тайна. Он всю жизнь мечтал проснуться однажды европейским государем! Он любил Адама. И только иногда усмехался невольно... Эти польские аристократы, после раздела осевшие в России на различных ролях: то ли заложников, то ли почетных гостей, то ли просто изгнанников – в постелях русских вельмож, то есть, конечно, их жен! – продолжали свой бой за Польшу.

...Охотникова... Алешу, Алексиса – убили кинжалом в грудь – вечером, по выходе из театра. Кто убил, за что? Можно было догадаться – что за нее. Полиция, конечно, не дозналась. (О чем полиция способна дознаться?) Элиза была в отчаянии. Грешила какое-то время – подозревая мужа: все подозревали... Но он был растерян, похоже – не меньше, чем она... Распорядиться тайным убийством? Не в его правилах. Он был слишком царствен для этого – или слишком ленив. Да и кто ему мешал? Он открывал всякий бал в первой паре с Нарышкиной. И Нарышкина открыто хвалилась перед ней своим животом. Он сам порекомендовал жене скульптора Мартоса – чтоб поставить памятник на могиле юноши. Дерево, сраженное молнией – и скорбящая женщина, тоже сраженная, то есть, она... Памятник был у всех на устах – о нем говорил весь дворец... Она ничего не хотела скрывать – она бросала вызов всем!

...Нет, Гортензия была настоящая королева! (Как, впрочем, Жозефина!) У Гортензии, единственной, пожалуй, были ноги, как те... Чьи? *Те!* – которые даже нельзя назвать. Те! Те самые. Неужто и они исчезли без следа? У прусской королевы Луизы – первой красавицы Европы – не было таких ног. А их он изучал, слава тебе Господи, пристально и долго. Геттингенский университет – а не ноги!

...Впрочем, ее Адам как-то сказал ей: – Учтите! Не все дамы, на которых простирается внимание вашего супруга – в самом деле являются любовницами его. Боюсь, таких меньшинство. Он довольствуется игрой. Ласки, не боле. Он конфузлив в этом смысле!.. – Чарториж-

ский знал его лучше. Они ж были друзьями! Она помнит, как вошла в кабинет к мужу – и на его столе сидела его родная сестра. Екатерина, почти нагая. Ну, в легкой ночной рубашечке, задранной почти к животу. И Александр зацеловывал ей ноги. Катишь тогда было лет шестнадцать, не больше? Она смеялась от ласки – как от щекотки – колокольчиком. И в глазах ее было счастье. (Элиза всегда помнила – это счастье в глазах. *Мне он никогда не целовал ног! Неужто мои были хуже?*)

– Что это? – спросила тогда Элиза в полной растерянности... (Хотя... какое она имела право спрашивать? Неверная жена!)

– Ничего, – ответил он – не то смущенно, не то беспечно. – У Бизям Бизя мовны дурное настроение! Правда, Бизямовна? Я хотел поцеловать носунечку. Она сопротивляется! – а целовал не нос, а ноги.

Эта русская манера сохранять детские прозвища, когда ребенок давно вырос! Некогда маленькая девочка назвала себя так и все смеялись. Бизям Бизямовна – и с несусветными ляжками! Какой это был год? Она точно помнит – что перед Аустерлицем. Может, пред самым его отъездом к армии?..

... Королева Луиза – первая красавица Европы... к кому не остался равнодушен сам Бонапарт – то есть, сделал вид, что остался (равнодушен) – но не остался. (Жозефина после, в Париже – допрашивала Александра – не было ль у ее мужа в Тильзите – романа с Луизой?). Нет! Луиза была добродетельна и чиста. Но Александра она домогалась всеми силами. Он мог часами сидеть у ее ног и ласкать их под платьем. Она умирала, шептала неразборчивые слова...

Луиза говорила про мужа: – Не сказать, что он ничего не может! Может! Но – как чиновник, понимаете? Представляете меня... женой чиновника? Еще немецкого? Я только должна рожать ему детей! Наследников. А что наследовать им? Слабое королевство – полуразоренное? Бывшую армию Фридриха – что терпит одни поражения? А в постели он старателен. Такой крепкий одноразовик! – сказано было по-французски и выходило не так грубо.

Но когда она спросила: – Я увижу государя сегодня ночью?.. Александр ответил твердо: – Нет. Нет!

– Но почему, почему?..

– Здесь граница, – сказал он, улыбаясь с нежностью, чтоб смягчить удар.

– Предел отношений – государей и царств! – и на ночь запер дверь на ключ, и еще проверил – убедиться, что запер. Он дважды выдержал этот искуc. В Петер бурге и в Потсдаме. И был горд собой...

... Когда они спустились в склеп, ночью, все трое (с ее мужем) – и руки их троих скрестились в торжественной клятве над гробом Фридриха Великого: почти масонский ритуал, священный союз, конечно, против Бонапарта, – Александр боялся рассмеяться. Ему все вспоминалось – «крепкий одноразовик»!

И прусская армия его разочаровала: На смотре он откровенно скучал и хотел, чтобы все скорей кончилось. Пруссаки были не лучше баварцев – честное слово, а те уж вовсе – не солдаты! И за что его отец так любил пруссаков? (Бедный отец!). Александр презирал Фридриха-Вильгельма – за то, что тот мог отпустить Луизу – одну, без себя – на переговоры с Бонапартом, в его шатер... В надежде, что ее красота поможет добиться уступок Пруссии. Он сам был неважный муж Элизе, и она – неверная жена... но он бы ее – не отпустил! Даже если б самому грозила потеря трона!

... Неужто ее муж жил с родной сестрой? А зачем он ездил в Англию после Парижа? В Лондон? Ему вовсе нечего было там делать. И Катиш принимала его в своем доме – она уже вдовела, ее Ольденбургский погиб в 12-м... Тогда было очень много павших! Брат с сестрой... Элиза боялась всегда, что это выйдет на свет. Она была несчастливая императрица – но императрица! И обязана была беречь честь государя. Благославенный! – титул, какой подносили ему от имени народа – но он не принял. – Ему прощали почти все – этого бы ему не простили!

...Он, и вправду, дорожил лаской – больше, чем завершением... Он был так устроен. Дура-Нарышкина сердилась – и звала это «дразнилкой». (Вот уж – душа без приданого!) Багратионша тоже – никак не могла взять в толк. – Ваше величество чем-то расстроены? – когда он был в лучшем настроении. Она очень торопилась к посеву – привычка к нетерпеливым любовникам... Но она была гладиатор в любви, что правда – то правда! Его храбрецы-офицеры могли спокойно спать в своих холодных постелях – от Вильно до Москвы и от Малоярославца до Лейпцига. Их жены теперь сражались за них. – Ну, правда, в другой позиции!.. А там, на конгрессе в Вене – вообще все спуталось, все будто с ума посходили. Бакхическая оргия. Старая Европа праздновала победу над Бонапартом, который чуть было не перекроил – ее, порядком поистлевшую, карту... И всем хотелось быть победителями – во всех смыслах.

– А Фотий, по-моему, просто – православный Савонарола! – тебе не кажется?

– Почему – Савонарола? Не знаю. Может быть... – он пожал плечами и взял карты в талоне. Там уже почти ничего не осталось.

– Ну, может, нашему миру, как раз сейчас – и не хватает Сованаролы?

...Валет червей, десятка червей и дама... Может, квинта? Козырная? Квинта – это сразу 250 поэнов! Мелочь он посбрасывал. – Азарт политика – значит, игрока – слегка раздул ноздри его скульптурно вылепленного носа.

...И вовсе Жозефина была не так стара! Если б не была она такой потерянной, такой усталой! – при этом она все равно оставалась царственной, и к ней никак не подходило словечко «экс» – «экс-императрица» (Александр вдруг приставил мысленно это «экс» к себе – «экс-император», ему не понравилось) – *он бы с удовольствием добился близости с ней... с меньшим удовольствием, чем с молодой Гортензией*. Он мог бы с ее помощью постичь Бонапарта. Ему нужно было постичь!.. То был единственный человек его времени, который сумел оставить мировое поле брани – совсем не таким – на какое вступил. Он знал, что *одоле*л Бонапарта силой – но *не победил*!..

– По-моему, она просто истеричка! Кликуша!

– Кто?

– Ну, эта Орлова! Верно, от некрасивости!.. Она, что – любовница этого монаха?

– Фотия? Не думаю. Духовная дочь! Бывает ведь и просто связь по духу! – Духовные дети... – сказано было не без ехидства.

...Господь не захотел благославить его детей! Это он раньше думал, что Голицын или Кошелев помогут ему вымолить прощение. Иль хотя бы Криденер. Голицын не смог. Она не смогла. Пусть будет Фотий!..

Элиза взглянула на него с испугом. Неужто он на исповеди – способен выдать ее Фотию? – не только *свои грехи* – но и *ее*... И этот неопрятный монах с темным горящим глазом все знает? Сама она тоже была религиозной – и чем дальше – больше, но не терпела духовников.

– О-о! – сказал он обрадованно. Сейчас объявит квинту – или что-нибудь подобное. Он выигрывал – как всегда в жизни.

– В свете только и разговоров, как вы возлежите с ним на камнях в его монастыре перед распятием. И как ты целуешь ему руку при встрече!

– Ах, милая! я перецеловал в своей жизни столько – куда более грязных рук!

...Он снова вспомнил маленького человека, с брюшком, с плебейской манерой держать руки скрещенными на груди и глядеть исподлобья, и с ужасающим корсиканским французским – который так раздражал русских генералов – для кого французский был родным. Император из лейтенантов! Он, Александр, подписавший вместе с семью государями анафему ему, бежавшему с Эльбы: «Наполеон поставил себя вне гражданских и социальных законов» – за это именно более всего и уважал его. Это стоило, пожалуй, всех его побед. Как? Несчастному изгнаннику, побежденному... высадиться на пустынном берегу, всего с несколькими сторонниками – и... чтобы вся Франция, смертельно уставшая от тебя, от твоих войн, потерявшая в

них три поколения своей юности – вышла тебе навстречу?.. Он боялся задать себе вопрос – что было бы, если б...

– Аракчеев! – сказала вдруг Элиза про себя почти в уверенности. – Аракчеев! – Она боялась раньше назвать это имя... – Вот, кто приказал убить Охотникова! – Она ненавидела его всегда. Несчастный! Его никогда не любили женщины. Недаром он путался с этой крепостной! – Как ее звали? Настасья Минкина! Настасья!.. А если не он? – и кто скажет точно?.. Все равно! Она ненавидела этого человека – и не могла понять, почему ее Александр так всегда приближал его...

– Я думаю только о престиже государя, – сказала она строго. – Чувство вкуса. А так... Какая-то мрачная мистерия!..

– Считаю, что мы жили с тобой – в эпоху мистерий! (и улыбнулся по-детски.)

– И лишь сестра Екатерина понимала его. Катишь... Бизям Бизямовна... дитя, нежность! Они были – как из одного куска мрамора!

...Инцест! Единственная из женщин... Может, Господь – там, наверху – устроит им свидание? И сделает так, что там они уже не будут братом и сестрой?.. Инцест. Какое страшное слово – царапает ухо. Одно сплошное «цэ»... Ин-цест! Правда, говорят, у Байрона – кумира нынешних либералистов – было тоже что-то в этом роде...

Он помолчал и сказал – спокойно: – Приготовьтесь, Элиза!

Она приподнялась. – К чему? (почти без голоса). Будто готовая выслушать приговор – и снова села. Она ждала это всю жизнь. Сейчас он объявит о разводе. Как Бонапарт Жозефине. Она ведь тоже не смогла даровать мужу наследника. (Она усилием сдержала кашель. Не хотелось в этот миг еще выглядеть жалкой.) Он женится на юной – как Бонапарт. Он еще не стар. Ему будет – кому оставить это мрачное царство...

– Осталось три года – и мы уедем.

– Куда? – Она узнала голос девочки, которая стояла с ним в классе – а он показывал ей рисунки. Она совсем растерялась.

– Не знаю. Куда-нибудь. На курорт, в Швейцарию... Лечить твой кашель... Посмотрим!

– А Россия, а царство?..

– Мне сорок семь. Ровно в пятьдесят я откажусь от престола.

– Постой! А кто будет?..

– Николай! Я ж говорил тебе! Я составил письмо, хранится в Москве...

– Я думала... еще только мысли...

– Решение! – сказал он жестко. – Решение. Вы не против?

– А что мы будем делать?

– Лечиться. Отмаливать грехи, собирать цветы. В этих Альпах – пропасть прекрасных цветов... Помнишь – твои венки в юности? Психея! (Он улыбнулся – и добавил.) Представь... когда-нибудь... Николай и Александрина – едут по Невскому. В экипаже – и под приветственные клики... А мы стоим в толпе, среди малых сих – и тоже машем рукой!..

– Я согласна, – сказала она – почти без раздумья. – Разумеется. Куда бы ты ни сказал... я согласна!

Эта женщина должна была быть его первой любовью, но, кажется, могла стать последней.

Чуть погода – партию он выиграл – он вышел пройтись по парку. Начинало смеркаться. Аллеи темнели, как жизнь – что была еще впереди... Он увидел невдалеке стайку лицеистов – они шли парами, во всем оживлении юности. Строя из них не получалось. Он быстро свернул в другую аллею – чтоб избежать встречи, и надвинул шляпу. Лицей будил тоскливые мысли. Он сам его придумал некогда – среди прочего, он хотел, чтоб там учились со всеми его младшие братья. Николай и Михаил. Но матушка стала в позу: – Ваше величество позволит, я думаю –

вдове воспитывать своих сыновей по собственному разумению, а не по прихоти... заезжих либералистов?

И хотя ему не нравилось, как воспитывали его братьев, – генерал Ламздорф, по его сведениям, старался сделать из них гатчинцев, как при Павле, и, говорят, частенько их бивал (из него самого, когда-то – пытались сделать гатчинца) – он сдался. – Как сдавался не раз (и не только матери). Вдова убитого отца, в самом деле, имела право на свои мнения и капризы. Хотя он думал и теперь – что если б братья поучились в Лицее... Они б, может, смогли довершить то, что он когда-то начинал... а после забросил – не получилось. Лицей был очередной его неудачей. Не самой главной, но... Картина мира, какая рисовалась ему, когда он только шел к трону, так и не удалась ему!

Недавно он уволил профессора Куницына. Того самого, что некогда бле стящей и вольной речью – открыл Лицей. Все радовались – какой у нас государь (позволяет!), и сам государь аплодировал чуть не больше всех...

Еще, этим летом, он выслал в имение – одного из первых лицеистов. Пуш кина, поэта. Его просил Воронцов. А он, опять же, не хотел отказывать Воронцову. Что такое власть? Это – когда все чего-то просят и нужно решаться – кому можно отказать, а кому нельзя. Воронцову было нельзя, хотя... Он вовсе не благоволил Воронцову. Тот раздражал его – еще с Тильзита. Его прелестная жена (только полновата, пожалуй) – отвергла некогда притязания императора – и сделала это весело и легко: – Надеюсь, у вашего величества есть в достатке верноподданных дам, более достойных этой чести! – Впрочем... у того молодого человека – у Пушкина – были еще грехи... Крамольные вирши, ода «Свобода». Зачем они лезут в политику – эти поэты, когда в мире столько прекрасного?.. Дурень Милорадович так и не показал ему стихов – клялся-божился, что затерял. Мания покровительствовать изящным искусствам! Это у него – от любви к балеринам. Впрочем... Может, просто боялся – как все боялся. У стихов ведь в этом случае был бы не только автор – но и читатель – сиречь, сам Милорадович. Не знал, конечно, что Александру давно прислали другие копии. (Не все, наверно, не все!) Василий Каразин прислал – чиновник по Министерству просвещения. Похоже – идет вверх... Каразин не испугался.

Темнело. Он вышел к пруду. Цепочка лицеистов вдалеке уже, виясь – тонкой струйкой свободы – утекала в темноту. Как молодость. Еще три года – и он уходит от царства.

Он вдруг остановился. «Экс-император». «Экс...» (Он попробовал на слух.) Он спросил себя... что если б, отрешенный от власти – жалкий изгнанник, он – с несколькими приверженцами – высадился на каком-нибудь, забытом Богом берегу Финского залива? Пошла ли бы за ним – Россия?..

Схолия

«Время и мы» – едва ль не одна из коренных проблем романистики – особенно исторической. На этом основано включение в роман «Вставных глав».

Наверное, лучшая из книг об императоре Александре написана французом Анри Труайя: «Александр I. Северный сфинкс». (Правда, сам Труайя родился в Москве и вошел в мир как Лев Тарасов.) На Западе много писали и пишут еще императоре Александре I – и это неслучайно. Там ведь всегда пытались разгадать загадку Сфинкса – России. А Александр, с его французским (точней, швейцарским – Лагарп) и частично немецко-гатчинским воспитанием, – был, может стать, самым **русским** из царей Романовых (ну разве, кроме Петра I). Потому, что был слишком похож на всех нас – масштабом задуманного и количеством несвершенного. (Как понять эту неподвижность нашей мечты? ее легкую способность останавливаться?) Вся история России – как бы, история внутренних обещаний и какой-то роковой их неисполненности! Да и Елизавета Алексеевна, баденская принцесса Луиза – со всеми своими страстями и страданиями, единственной любовью через всю жизнь – и к тому ж бесконечной волей к прощению и покаянию, – была более похожа на грешных героинь Достоевского, чем на Софию Ангальт-

Цербскую, русскую императрицу, но безнадежную немку – Екатерину II. Недаром про тайную свободу – Пушкин написал именно ей – Елизавете Алексеевне – и о ней! Да и сам уход из жизни обоих наших героев, связанный с легендами о «полу-уходе», уходе не до конца (сопровождающими и нынче тень Александра), параллельное существование в памяти царя Александра и старца Федора Кузьмича – есть нечто типично русское по духу.

Впрочем, пора! Сюжет остановился, сюжет не движется – и придется приложить усилия – снова разогнать его. Далеко от Царского Села – в Михайловском (впрочем, не так уж далеко – верст триста примерно) – зарядили вплотную дожди, дороги размокли и на деревьях стынет, вся в каплях, глубинно-зеленая антоновка – осеннее яблоко...

XI

«Мой дядя самых честных правил, – Когда не в шутку занемог...»¹⁵ Исследователи полагают, что «болезнь» Сергей Львовича (толчок сюжета) была вызвана неким письмецом с юга на имя Александра, пришедшим где-то в конце октября – и которое отец почему-то порывался прочесть. И что будто бы тут – все смешалось в доме Пушкиных. На самом деле, сперва случился некий ремиз – с самим Сергей Львовичем – про что мало кто знает. (Беда, эти наши мужские ремизы – в делах, в каких нам менее всего хотелось бы уступать судьбе!) – С. Л. занемог той болезнью, какую все мы заболеваем в свой час, и которой врачи так и не подобрали названия. («На заходе солнца»?..) Однажды поутру, ненароком взглянув на жену – в папильотках и в халате, некрашенную – каждая морщинка наружу, – Сергей Львович понял, что постарел сам: жизнь прошла, если даже не совсем – остались какие-то клочки, проплешины (хромая тоска!). И до того было – он, нет-нет, да и испытывал неприличную зависть к старшему брату Василию (Василью Львовичу, поэту) – что в один прекрасный день, на глазах у всего света – расстался со своей почтенной супругой, (кстати, почитавшейся красавицей – как Надин) – взял развод и бесстрашно ринулся в объятия румяной дворовой девки. И сам Сергей Львович, который наружно, при жене, по должности осуждал брата – не без удовольствия следил, как тот в своем доме – сидит султаном за столом с гостями, а подруга его, Аннушка, суетится горничной туда-сюда (сама ситуация – приятственна!) – подавая и переменяя блюда, – и влюбленно переглядываясь с барином-мужем – возможно, на предмет, когда же уйдут гости. В семье Сергей Львовича, как мы знаем, первую скрипку всегда вела жена, а он лишь уныло тянул партию второй... она была красива с общей точки зрения, и он любил ее – то есть, привык (замена счастью) и тщеславился ею – для человека, подобного ему, тщеславье и означало любовь – и беспокойство было его уделом... И когда он догадывался временами, что она отвлечена кем-то более обычного или развлечена (или не дай Бог! – увлечена) – и призрак измены вставал перед ним, он по слабости духа утешал себя, повторяя без конца – особенно ближним: – Нет, что ты! как ты можешь подумать! Надин верна мне!.. – или: – Ты позабыл – у нас четверо детей! (пятеро, шестеро – мертвых он обычно причислял к живым) – мысль о детях казалась спасительной. Или совсем уже интимно – с братом Васильем он был особенно близок (оба – поэты): – Что ты! Если б ты знал, как она... – таинственно улыбался и цокал языком. Сам Сергей Львович по природе был более мечтателен с дамами, чем успешен (еще он почему-то вбил себе в голову, что отчаянно храпит во сне – хотя жена ни разу не упрекнула его в этом) – короче, побед на его счету было не так много, да и они, сказать, не слишком занимали его – он больше тешился картами. Но теперь Надин в постели – давно уже была *не та* – никак, впрочем, как он сам, они почти что не касались друг друга, разве только случайно, церемонно укладывались в широкую кровать, расправляя складочки пододеяльника (она в чепце, он – в подобаю-

¹⁵ Некоторые исследователи считают – эту строку прямой реминисценцией из басни Крылова: «Осел был самых честных правил...» Иные утверждают, что эта связь случайна.

щем колпаке с кисточкой) – и, привычно пожелав покойной ночи друг другу – отворачивались: каждый к своей стене. (Кто знает – о чем там она там думает? или он?) Все мы раньше или позже отворачиваемся к своей стене! *«И так они старели оба...»* Но теперь вдруг... поздняя лихорадка стареющих мужчин охватила Сергея Львовича, коснулась струн его некогда поэтического, а ныне приувядшего сердца. Он почти позабыл на время все, что тяготило его, – и неудачника-сына (старшего), и младшего недоросля – Льва, карьера которого пока не складывалась (к нужному моменту знакомств «в кругах» оказалось не так много – или знакомства не те), и незамужество Ольги (27!), и хронический недостаток средств: имения были и даже немаленькие, но в них что-то постоянно не удавалось... они почти не приносили дохода. (Он чего-то в жизни не умел, не умел! – он сам это признавал!)

А теперь он бродил по дому в каком-то темном азарте, чуть не угрожающем, нет-нет и бросая, искоса – на домашних победительные взгляды: что они знают про него, что понимают?.. Он решил про себя твердо – начать новую жизнь, какую – он не знал. Он ожил. Гордость, какую он всегда тщился выпятить в себе – но не находил, опять же, в себе – так и перла из него. И впервые пришел как будто черед жениной озабоченности им.

Он ходил и напевал. Песня сыскалась легко. Шуточная из Державина – он придал ей вполне серьезный мотивчик из какой-то легкомысленной итальянской оперы – этих мотивов без счета вертелось у него в голове – и она звучала при сем почти одически.

«Если б милые девицы – Так могли б летать, как птицы. – И садилась на сучках... – распевал он про себя, а иногда вслух... – Я желал бы быть сучочком...»¹⁶ – и ощущал себя и впрямь – счастливым сучком. Без сучка, без задоринки... Сучок и задоринка. Каждому сучку – своя задоринка... Он улыбался про себя. Сыновья пошли в него – страстью к каламбурам. И правда... Не в темных же Ганнибалов было им пойти – этой склонностью к поэзии? А Пушкины... брат Базиль – известный поэт, «Опасный сосед», поэмка – кто не знает? да и он сам... если вновь приняться за дело... Ох-ти! *«Никогда б я не сгибался – Вечно б ими любовался... – Был счастливей всех сучков!»* – все-таки гениальный поэт Державин, не то, что нынешние! (И не прав Александр, который как-то сказал, что гений его думал по-татарски. Нет-с, милостисдарь, нет-с!.. Это наше русское! Коренное!) Поторапливайся, Сергей Львович, поторапливайся! – жизнь проходит, почти прошла. Никогда б я не сгибался... И трогал тайком, под запахивающимся халатиком – то самое – что сгибаться не должно.

Толчок сюжета! И тут является Она – которая и далее еще, наверное, будет мелькать на этих страницах. Мастерница любви. Афродита Михайловская, рожденная из ржавой пены, усыпанной прошлогодними листьями – у берега озера Маленец.

В общем, через несколько дней, вечером, когда Арина старательно намывала его в «байне» (как она называла, ибо была из Суйды, все суйдинские говорят: «байна») – а он сам беззастенчиво подставлял ей то один бок, то другой – красные веточки сосудов горели сплошь на толстых, почти женских бедрах, – и, отхлестанный веником – не слишком, в меру – сильно он не любил (Арина это знала), хотя... всем и каждому мог поведать, что главное на земле для русского человека – это парная с веничком, но скорей терпел эту банную ласку, чем желал ее... – Вот в такой момент – он сказал Арине, как само собой разумеющееся:

– Алену приведи!

– Ишь! Алену! – удивилась Арина, помолчав для порядку. – А что барыня скажут?.. – и чуть сильнее шлепнула его веником.

– Ничего не скажет! – не без страха внутри ответил Сергей Львович.

¹⁶ Много лет спустя – известный оперный композитор (наверное, его либреттист) вставит эти стихи Державина в оперу на сюжет Пушкина, там они должны будут звучать возвышенно и даже лирически.

– А не стар? для Алены-то? – спросила Арина еще после паузы – и, кажется, мельком оглядела его стати. (В бане она говорила всем «ты». Хучь барин, хучь кто... все одно – голый!)

– Молчи, дура! – сказал Сергей Львович беззлобно – но в поучение.

– И то правда! – согласилась Арина. – Хозяина потри!.. – и подала ему мочалку. (Вот и старая баба, и... если что было – позабыла давно, а мужской предмет все называла «хозяином».)

– Так приведешь?.. – спросил он, намыливая...

– Поворотись! – и, забрав мочалку, пошла намыливать ему спину и зад.

– Завтра! – вырешила она, наконец. – Завтра...

– Почему – не сегодня?..

– Торопишься больно! Пряткий. Завтра – значит, завтра! Поздно уже... (пояснила с неохотой). Он поражался всегда этому властному тону дворовых. И как они умели брать верх над барями. А уж Арина – та совсем... Да куда без нее? Он согласился без звука.

Алена и была та самая, о которой речь.

На ее курносом, в меру крупном носу всегда, и в зимнюю пору даже, среди мелких детских веснушек светились капельки поту (жарко ей было, что ли? или жар шел от нее?). Когда она купалась в Сороти или в Маленце – все деревенские мальцы любого возраста, кто не был занят на сенокосе или скотом – сбегались в кусты округ и, толкая друг дружку – проедали все глаза. Купалась она, конечно, голой, а когда выходила и замечала мальчишек – лениво прогоняла: – Кыш! – без интересу вовсе: ушли соглядатаи? не ушли? Была в ней гордость собой, а может – особая лень подлинной красоты – которая знает, что неча стесняться. Когда она склоняла крупную голову на грудь – выжимая волосы, и темная каштановая струя падала на одну грудь, почти до пупа, закрывая всю гроздь с виноградиной в центре, словно, чтоб другая ярче заблестала на солнце – само солнце, кажется, чуть нисходило с небес – взглянуть на нее. Когда она, широко расставив ноги в цветастой длинной юбке, мочилась в поле (ходила она, как все бабы – естест венно, без белья) – брадатые серые козлы, в свальной шерсти, пересекавшие поле в сопровожденьи пастуха – и те замирали на ходу и трясли бородами в животном волнении, прислушиваясь к мощному потоку жизни, струившемуся из нее... И давала она, кому ни попадя – тоже так – не с разврату, скорей, с доброты: если может одарить кого-то чем-то, что ей, как бы, и не надобно – но случайно досталось – почему бы и нет?..

Лев, Левушка, перепробовавший чуть не всех дворовых девок – лет с пятнад цати старался – как-то сказал про нее отцу:

– Молочная река там – в кисельных берегах, не иначе!

И отец возрадовался про себя – образному строю мысли младшего. (И этот пошел в него. Сказать так про бабью утробу: река в кисельных берегах... Поди ж!) И, может, с той поры как раз – размечтался!

Суровая во нравах деревня и та не слишком осуждала Алену – хотя судачила без конца про нравственность дворовых. Бабы от невозможности все одно сравняться с ней, а мужики – да у кого голос подыметя? только разве что другое! Впрочем... Что это – судаченье? В старину, в имении все жили будто одной семьей – баре с дворовыми, дворовые – с деревенскими мужиками и бабами – и говоренье всех про всех было просто, как лузганье семечек: знай, лузга слетает с губ.

Даже Арина – ведавшая всеми девками, по должности, и весьма строгая к ним – старалась не слишком загружать Алену черной работой. Раз уж дан девке такой талант!

В общем, к вечеру следующего дня, там же в байне – Арина парила теперь ее. То есть, девка, конечно, натиралась сама – а Арина только веником работала, да наблюдала пристрастно.

– Полегше бы вы, Арина Родионовна! – иногда взмаливалась девка.

Она стояла перед ней, как роскошная статуя, такие видала Арина в Москве, когда водила своих недорослей гулять в сад... И удивлялась – как это делают каменных людей – и так похоже!..

– Потерпишь!.. К барину – как-никак!

– Ой, что вы! А к какому? (Если честно, думала она про Александра. Этот приехал недавно – и был еще не знаком с ней. Его темная с рыжинкой волосня на щеках и настойчивый темный взгляд завлекли ее.)

– К старшему!

– Ого! А что барыня скажут?..

– Молчи, дура! – сказала Арина тоном Сергей Львовича.

– Уж и не скажи ничего! – сказала Алена игриво. – Старший барин – так, старший – ей-то что?.. – и вяло изогнулась боком. Красивая стерва!

Всякий раз, намывая так Алену – или какую другую из девок, потребных господам (мало ль что ей приходилось?), – Арина пыталась вспомнить себя такую. И не могла. Не было в ней чего-то, наверно... Не было. И байна была та же – деревянный сруб, и темные камни те же – горячие... и скамьи склизкие. И только она сама была другой. Чего-то Бог не дал. Как-то барин Александр-душа – спросил ее... – По страсти ли ты вышла замуж? – она и ответь: – А как же? По страсти, родимый... по страсти! Прикащик и староста обещались до полусмерти прибить!..

И он почему-то долго смеялся. Чего смешного?..

– По страсти ли, по страсти ль... А что это?

Она видела себя девчонкой, потом замужней бабой – недолгое замужество, муж помер в горячке... стояла босая посреди избы и в зеркале, которое отец ее притащил с развалин какой-то сгоревшей усадьбы – обломок зеркала, поеденный сыростью и тленом... она видела себя теперь в этом зеркале: худая!.. ни девка, ни баба... лица не различишь, мосластые ноги и грудь – словно скошенная к животу... Она отошла в сторону и что-то там пригубила из шкалика, который с некоторых пор всегда держала в бане, в уголке, на случай.

– Промеж мой! промеж! – сказала она Алене почти злобно.

– Ой! и чего это все – промеж да промеж! Что там свиньи ходили, что ли?.. – причитала Алена, но намывалась исправно.

– Кто знает, кто там у тебя ходил! Мой давай!..

– Да мою, мою! – отозвалась Алена примирительно.

– Нашлась, тоже мне... – Арина густо выматерилась, хотя и негромко. Почти про себя. Но девка услышала.

– Чего-й-то вы ругаетесь, Арина Родионовна, – запела она протяжно... – Чай, в барском доме проживаете – не на конюшне!

– То-то и оно!

Арине стало жарче – от выпитого. Два розовых шара покачивались перед ней – обтянутые, как на барабане, – почти детской кожей, без морщинки, без пупырышка даже. И бедра – красные от мочалки и в полосах – тень косых досок в свете чадающей свечи – сходились перед ней – чем-то непрожитым, странным, неизвестным.

Откуда ты взяла это все? Бог дал! Бог даст! Бог щедрый – если хочет! – И уж без всякой злобы – и даже ласково – шлепнула девку по небесному заду.

– Ладно! кончай тереть – все богатство сотрешь!..

Богатство сие и предстало вечером Сергею Львовичу – в той же бане, – где-то часа два спустя, когда пар уже сошел: дверь Арина после подержала открытой – чтоб не душно.

Алену он и не сразу заметил – сидела в углу, сложив руки на коленях.

– Ой, здравствуйте, барин! – сказала она смиренно, точно не ожидала увидеть его здесь – случайно забрел.

– Алена, Аленушка! – сказал он слабым голосом. Сам напуганный – перепуганный насмерть, аж пот прошиб. – Ну, поди сюда!

– Ой, что вы! – сказала Алена, но сразу и подошла.

– Сядь здесь, – сказал Сергей Львович и неловко притянул ее, уже не слыша очередного «Ой, что вы!». «Если б милые девицы – Так могли летать, как птицы, – И сиделись на сучках...» Он тронул незаметно: сучок был на месте и восходил к страсти. Он еще притянул к себе девку и неловко поцеловал. Отвык.

Рот Алены пахнул пережаренными семечками, прелыми травинками, сгрызанными на ходу, и безбожной молодостью.

– Ой, укусите! – сказала Алена, целуясь легко и привычно.

Он стал неумело разбирать плат на ее груди – плат пал сам собой – и начал стягивать с нее блузку.

– Да сама я, сама! – шептала Алена. Она умела сбрасывать блузку рывком – а юбку... так, наверное, вообще никто не умел. Перекрещивала ноги – сводя большие пальцы под подолом и, зацепляя его пальцами, тянула юбку книзу – пока та не слетала сама собой. Эрмитажный Рубенс возник пред влажным взглядом барина. Он уткнулся в ее груди, как младенец... пыта-ясь языком разделить их надвое, чтоб после – млека, млека... из безумных сосцов!

– Щекотно! – сказала Алена! – и потянулась рукой к его брюкам. С мужиками было проще – порты и все. Она старалась.

– Минутку! – он попытался помочь ей, – и все боялся, боялся... «Я желал бы быть сучочком, – Чтобы тысячам девочкам...» – Все-таки, прав Александр. Ужасное это ударение у Державина! Девочкам! (он никогда не знает меры, Державин!) – а сам стал робко опускать руку куда-то... Река в кисельных берегах! Его нисколько не смущало, что в эту реку прежде входил его младший сын, еще многие. Они были одно целое. Ау, ау!.. Сейчас он войдет в живую воду жизни – и омолодится. Он молод, молод!.. Он повалил ее на скамью – еще не вовсе высохшую, и деревянный храм любви сомкнулся над ним.

– Божество! – шептал он этой девке. – Божество!.. – и так жадно, самозабвенно шептал, что она позабыла на миг свое вечное: «Ой, что вы!»(кокетство то есть) – ей так никто не говорил! Сучки и задоринки. Сучок и задоринка! Ох-ти, где ты? «Никогда б я не сгибался, – Вечно б ими любовался...»

Согнулся! – сволочь!.. В самый момент! Опал. Паруса отпарусили – будто не стало ветра. Не познаша ты, не познаша!.. Перед самым входом в святилище... Молочная река в кисельных берегах!

– Ништяк, ништяк, – шептала Алена. – Не боись! Слишком прытки! Торопыжка вы у нас, торопыжка!.. – и пыталась поправить дело. Но пальцы ее крестьянские были грубы – в отличие от прочего. И выходило еще хуже. Он, как-никак, был барин – нежный человек.

– Сейчас, – суежилась она. Сейчас!.. – знала свою силу. С ней такого не бывало, чтоб... Мертвого с одра подымет, мертвого! А вот, Сергей Львовича...

– Ладно, ступай! – сказал Сергей Львович после долгой возни – и махнул рукой, как приговоренный.

– Это я виновата, я... Надо было поддрочить сперва! Я еще не дospelа. А вы – как броситесь!.. – она пыталась пригнуть его голову к себе, прижать, успокоить. Но он отстранился... Барин был, как-никак. Гордый, стал-быть.

– Ну, какой вы, барин, право! Со всеми бывает!.. – Поцеловала, как маленького – впро-чем, бесстрастно. – Тут было один случился... такой весь богатырь – куды там... прихватился – а поди ж! Тоже никак! Зато в другой раз!.. – бормотала она без стеснения. Он, вроде не слышал.

– У меня и с сынком вашим Львом Сергеичем как-то не вышло! А уж он – какой молодой! Баба крепкая – вот и страх!..

– Иди, иди! – поторопил он, отвернувшись. Хотелось плакать. – В другой раз!.. – успокаивала она, быстро натягивая юбку и блузку. – В другой раз!..

Добрая была девка – не скажешь! Чего-чего – а доброты ей хватало! Она потом шла и шла, опустив очи долу и чувствуя себя виноватой. Осенние травинки – не иссохшие еще совсем, только мокрые – стлались перед ней на ходу.

– Я виновата! – думала она, – я виновата! – Что скажет Арина? (Арины она, как все девки – боялась больше всего.) – Старики – с ними беда! Надо было поддрочить – да он как бросится!

Сергей Львович меж тем сидел почти голый, не чувствуя, как остывает скамья... «Никогда б я не сгибался...» Согнулся, сволочь! Жизнь прошла. Небо деревенской бани из косых досок набранное – медленно опускалось ему на голову. Он вспомнил жену – утром, в папилютках. Тоскливые груди – почти прижатые к ребрам. Алену он не вспоминал. Не было Алены. Он накинул на плечи шлафрок, в котором пришел сюда – а так остался голый. Сидел – слегка раздвинув круглые ляжки в красных веточках. Мокро, холодно... Камни, верно, уже совсем остыли. Никого не видеть! Ни жену, ни сыновей!.. Он уныло оглядел себя. Один! Только обвисший книзу – никому не нужный *foutre*!

Ночью, в постели – он заплакал, – и жена утешала его, как могла. Она что-то знала или догадалась... или не догадалась, но знала. Чутье женское?

– Зачем вы так? ты? – шептала она, переходя с «вы» на «ты» и обратно. – Мы прожили с тобой хорошую жизнь! Не совсем плохую жизнь!

...и прижимала его голову к пустой груди, и целовала его в голову, и принималась всхлипывать вместе – или в такт ему. Все равно – у нее не могло быть лучшего мужа! Он так и уснул в слезах – в ее объятиях.

Утром от слез не осталось и следа – но поднялся он странный. Будто понял что-то такое для себя... не сразу скажется! Он ходил из комнаты в комнату в каком-то мрачном ритме, останавливался у одного столика, у другого, у старого бюро Ганнибалов (все было не его, не по нему!) – и принимался постукивать пальцем. Выстукивать. Один и тот же ритм. И за завтраком почти не ел – и тоже постукивал по столу – так, что Надежда Осиповна даже спросила: – Что с вами?

Он не ответил. Он глядел на Александра. Искося – но все равно было заметно. Он понял – что стряслось. Он был взволнован последнее время. Волновался много. Все врачи вам скажут – все дело в волнении! В волнении же его ввел Александр своими делишками – там, на юге. Что грозило всей семье. Увы, я отвечаю не только за себя!.. О себе я не думаю... Разве дело во мне?.. Зашлют куда-нибудь всей семьей – и што-с?.. Бедный Лев, бедная Ольга!

Молочная река в кисельных берегах...

А на следующий день – или через день – пришло письмо от Липранди...

Схолия

Следует отметить особо значение судьбы старших в романе «Евгений Онегин» и ее влияние на судьбу молодых героев, особенно Татьяны. Косвенно – на судьбы всех. Поездка Онегина к умирающему дяде, несмотря на длинное биографическое отступление о герое между началом и завершением ее (в Первой главе), приводит к тому, что первым фактически эпизодом романной фабулы является смерть – что редко отмечается пушкинистами. Меж тем, это еще один ключ к роману. Как то, что другой герой – Ленский, «своим пенатам возвращенный» – так же сперва приходит на кладбище, а потом идет двукратное описание могилы Ленского – в двух поздних главах» Онегина» – Шестой и Седьмой.

XII

Липранди писал ему:

Дорогой Александр!

Чаю, вы не позабыли меня в вашем далеке – надеюсь, оно прекрасно, – и что встреча с родными после столь долгой разлуки вознаградила вас за некоторые страдания, какие вам причинили здесь. Юг очарователен, вам известно, но быстро приедается, как все сладкое, тем более, что осень надвинулась незаметно, пляжи пустеют, милых фигурок на них становится все меньше – и их часто закрывают от наших взоров – то тоскливый дождь, то унылые зонты. Зато балов становится все больше, однако вам известно, я до них не охотник. Вы просили меня быть здесь вашими глазами и ушами – и я, кажется, понял, в каком смысле, – только боюсь не справиться со столь почетной и таинственной задачей. Возможно, мой нюх полицейской ищейки, который вы отмечали во мне в странном сочетании с моим либерализмом – наблюдение, кое, признаюсь, льстило мне, – начинает мне изменять. Я ничего не вижу того, что вас занимает и о чем мог бы поведать с уверенностью. Семейство, чья жизнь как-то беспокоила вас, по моему, в полном порядке. Месье, как всегда деятелен, хотя никто не знает – чего более в его деятельности – смысла или интриг; мадам обворожительна, в свете бывает нечасто, ее постоянно видят с ее кузеном, который, кажется, и ваш друг. Печать нежной меланхолии в ее лице, как обычно, небесного свойства. Девочка здорова и прекрасна, как все дети. Что еще? На этот счет только Вигель Филипп Фиппович, наш общий знакомый, несколько беспокоит меня своими смутными намеками. (Помнится, вы говорили, что он интересен лишь в первой части разговора: пока не переходит к теме мужеложества, у него этот переход, как бы, естествен, а нам, людям обычных страстей – порой трудно понять.) Вам введома его классическая фраза: «Как ужасны эти смешанные браки!» – когда речь идет о связи гетерической, восходящей к Афродите-Пандемос. На днях он произнес ее в виду особы, о которой речь – причем месье, супруг данной особы, был где-то далеко, а мадам была в обществе своего кузена Раевского. Я был удивлен, пытался потребовать объясниться – но это было все одно, что вызвать на откровенность сфинкса. Вы знаете, как почтенный Вигель умеет почти одновременно и возводить очи горе, и опускать их долу – и не отвечать на прямые вопросы. (Странное свойство!) Надеюсь, фраза сия не несла в себе ничего особенного, кроме, разве, самого желания Ф. Ф. казаться владельцем тайны. Впрочем, он, кажется, сам собирается писать к Вам. – Он мне об этом говорил. Недавно был в Кишиневе, там все Вас помнят, и разговоры о Вас скрашивают любую беседу.

Пишите и ко мне – ежли Вам не скучно!

С сердечным уважением – Ваш И. Липранди¹⁷

¹⁷ Письмо не сохранилось. «Обширная переписка Пушкина с Липранди до нас не дошла». – Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Л., «Наука», 1976. С. 224. Липранди Иван Петрович – короткий приятель Пушкина по Кишиневу, потом Одессе (где служил чиновником особых поручений при Воронцове). В те поры – пылкий либералист. Поздней – тайный агент правительства и деятельный чиновник Министерства внутренних дел, кому мы обязаны лично – так называемым «делом петрашевцев». Не кем иным, как Липранди был заслан в кружок Петрашевского агент Антонелли, благодаря чему, в итоге, вместе с другими угодил на эшафот, а после надолго – в Мертвый дом, на каторгу – автор, среди прочего, знаменитой в будущем речи о Пушкине – инженер-поручик Федор Достоевский. Люди меняются еще быстрее Времени.

– По-моему, Александр, вы вчера получили письмо! – сказал Сергей Львович за завтраком. (Нужно бы сперва отереть губы салфеткой – на нижней, явно – след яичного желтка – он чувствовал. С испачканной губой все могло прозвучать не так весомо.)

– Да, – сказал Александр, не ожидая подвоха. – Из Одессы, от приятеля!.. Тон был беспечный. На самом деле, он все время думал о письме. *Ее все время видят с ее кузенком... Печать нежной меланхолии...*

– Я бы желал ознакомиться с ним, – сказал отец почти торжественно.

– То есть, как? – спросил Александр с растерянной улыбкой.

– Как отец и наставник! – сказал Сергей Львович, тоном, каким, верно, было произнесено некогда: «Солдаты! сорок веков взирают на вас с высоты пирамид!» Александр поежился.

– Ничего не понимаю! – сказал он... Он вырос в Лицее, где никто не стал бы читать чужие письма. Да и дома ничего подобного не водилось. Его письма – это были *его* письма!

– Я хотел бы знать, какие дела творятся... м-м... или задумываются... под кровлей моего дома! – продолжил отец еще торжественней. (Тверже, тверже!.. Надо сломить. Это упрямство сына, эту его таинственность... да и вообще – дети... пора явить всем, кто в доме хозяин!)

– *Papa!* – да это ж частное письмо! – вступилась наивная Оленька.

– Мадемуазель Пушкина! – обратил свой взор отец. – Вы хорошо сделаете, ежели постигнете науку помолчать во время. Думаю, ваш будущий супруг будет признателен мне за этот совет!..

– Ничего не понимаю, – повторил Александр. (*...И этот Вигель. Что он хотел этим сказать? «Смешанные браки»!*)

– ... мы все живем в жизни частной... но потом, потом... она почему-то оказывается общественной! – продолжал напирать отец.

– Берегитесь! – вмешался Лев. – Когда я уеду в Петербург – я засыплю вас письмами! Я собираюсь начать свой епистолярый!..

– Да, – сказала Ольга. – А Зизи Вульф мечтает – завести с кем-нибудь переписку. Бедная! Она завидует старшим сестрам, которые получают письма поклонников.

Брат с сестрой, как могли, выручали его.

– Конечно! Вы не понимаете, милостивый государь! Вы не понимаете! А я-с? Я должен? У меня на руках семья, дети... путь коих только еще начался... и что-с? Вы вляпываетесь в какие-то политические дела, не думая о том, что...

– Я не вляпывался! И ни в какие дела! – вставил Александр, мрачней все боле.

– У меня сейчас начнется мигрень, ей-богу! – сказала Надежда Осиповна, впрочем, не слишком уверенно. Ее смущал слишком твердый тон мужа.

– Не начнется! – возвестил Сергей Львович. – Не начнется! Все-с! Больше в этом доме не будет – никаких мигреней!

– Как-так – не будет? – спросила Надежда Осиповна, уже негромко и в полной растерянности. Вчера еще он плакал в ее объятиях. Ужасно переменчивый чело век!

– Что теперь – все письма будем читать? Вслух? За столом? – спросил Лев шутовским тоном. – Я как раз на дни получил письмо от приятеля. Уморительно смешно! Из Гродненского полку, что стоит на Новгородчине... ну, вы знаете! Сказать, кто у них заправляет полком? Дама! Полковничиха. Офицеры смеются меж собой: «Полк в беде! – Наш полковник сидит на биде!»

– Фи, как неприлично! – сказала мать.

– Молчать! – сказал отец.

– Ах, да!.. тут дамы. Простите! Но я ж – про Гродненский гусарский!..

– Нет никакого Гродненского гусарского! – вспыхнул отец. – Ничего нет!..

– Как-так, нет? – попытался вставить Лев, но все напрасно!

– В православной стране составляется – что бы вы думали? – заговор афеистов! И кто играет в нем, так сказать, чуть не главную роль? Извольте видеть. Мой сын. Пушкин, Александр Сергеевич! Без него не обошлось!

Сергей Львович пережимал. Он возвышался над наглым сыном. – Как не смог (увы!) возвыситься над могучими чреслами дворовой девки Алены. Он брал реванш, он торжествовал – он упивался своим торжеством. *Река в кисельных берегах... Все пропало! Как грустно!..*

– Я не составлял и никакого заговора. Паче – афеистов! – сказал сын, все же, в растерянности.

– ... И это в то время, когда государь вынужден воспретить даже масонские ложи, к коим когда-то и сам питал симпатии.

– При чем тут ложи? Вы сами, между прочим, напомним – тоже, по-моему, были масоном!

– Был! И что ж?.. Многие были. И возмущались даже – считали этот запрет чем-то кощунственным. Насилием над личностью. Но после убедились, что в том была государственная необходимость.

– Что? – переспросил Александр.

– Государственная необходимость! – повторил отец. – Вам, конечно, это не понятно!

– Жаль, я не успел побывать масоном! – сказал брат Лев – он все еще надеялся утишить скандал.

– Если мое мнение значит что-нибудь, – сказала Надежда Осиповна. – Я просила бы вас прекратить все это! Всех!.. – чуть смягчила она. – Прекратить!

– Я боюсь не за себя! Ты подумал, что станется – со мной, с матерью – если тебя сошлют в рудники? (Про себя-то Сергей Львович думал, как раз в первую голову о себе... что, если и ему придется ехать в Сибирь? С семьей? Какой обоз надо везти! А сборы! А решения – что брать, что оставлять? В какой-нибудь Березов...)

– Нет! – Сергей Львович повернулся непосредственно к старшему. – Ты объясни мне! Почему повсюду, где опасно или как-то нечисто, или... где можно вляпаться... ты оказываешься тут как тут? Почему? Сперва порочные стихи... потом...

– Я не писал, учтите! И никаких порочных стихов!

– Еще бы! тебя отправляют на юг... на юг, заметь! – что вовсе не так плохо, за тебя хлопчут – почтенные люди – так мысля, что ты образумишься... что слабые надежды, которые ты возбудил в обществе своими юношескими опытами...

Александр улыбнулся.

– Считайте, что не было! И никаких надежд! Все надежды на меня были напрасны!

Он резко отодвинул стул.

– Вы нынче раздражены, *rara!* Объяснимся после!..

И вышел...

Он прошел к себе в комнату – и прежде всего собрал письма. Последние. – Чтоб не оставлять их здесь, в доме: немного, всего несколько, спрятал их на груди... Потом переоделся в платье для выхода, накинул плащ. Минут через пятнадцать он был уже в седле и ехал в Тригорское...

– Я обеспокоена вами! – сказала Прасковья Александровна, даже как-то неприязненно – почти не взглянув, когда он вошел. – Что там у вас стряслось?..

О том, как именно слухи перекачиваются из Михайловское в Тригорское и обратно – можно было только догадываться. Пошел один дворовый по мелкому делу в имение к соседу – и слух готов. Но тут прошло слишком мало времени, и... Хозяйка была одна за столом – девочки при появлении Александра тотчас рассыпались по комнатам наводить красоту, ибо он застал всех врасплох, в конце завтрака, и все были по-домашнему... Алексис Вульф хотел было утащить его к себе, но мать сказала: – Дай ему отдышаться, – и Алексис не настаивал. (Перо автора почему-то сопротивляется: не хотелось бы раньше времени вводить в действие Вульфа:

у него свое место в повествовании, и это место еще впереди. Беда, когда автор исторический начинает слишком зависеть от «правды жизни» – и от того, как все было на самом деле. За столом какое-то время побывала еще младшая девочка – Мария... это могло быть интересно – не забудьте, она – втайне, по-детски – влюблена в Александра, – но здесь опять-таки не время развивать эту линию... придумайте сами – что она могла или хотела сказать, и решим, что она незаметно выскользнула из-за стола и отправилась за старшими сестрами.)

– Хотите кофию? Я велю подать!..

– Нет. Благодарю!..

– А чаю?

– Пожалуй! Только не вчерашнего.

Они улыбнулись – оба одновременно.

– Не дразнитесь! Вам прекрасно известно, что чай в этом доме всегда свежий. Караванный. И хранится в мешках... Нынче это мало кто делает! Я разоряюсь всегда – на эти колониальные товары! – и положила руку ему на руку. Он пригнулся неловко, поцеловал руку. Рука была опять – необыкновенно мягкая и чуточку влажная.

– Ну, сознавайтесь – что там творится у вас!..

– Ничего. Приходит письмо, до меня касающееся... – он вкратце и, перескакивая детали, поведал происшедшее.

Прасковья Александровна покачала головой.

– Ваш отец – человек старого закала! Он чувствует ответственность.

– Перед кем, позвольте?

– Не знаю. Перед вами, перед семьей!.. Перед властями, наконец!

– При чем тут – власти? Что вы хотите сказать? Что мой отец зависит как-то от распоряжений властей?

– Ну, зачем так строго! Распоряжения! – Может, пожелания... Вы безнадежно молоды, друг мой! Хотя по возрасту и пережитому – могли б и повзреть.

– Но что, собственно?..

– Просто вам не понять! Ваши отцы слишком долго ощущали подлость в жилах – что касемо властей. Она сейчас растекается у них – вместе с утренним кофе! (улыбнулась неловко). А вы... ваше поколение... вы развращены, простите! вас развратили надежды, связанные с началом настоящего царствования. Наш бедный государь как-то сам собой, какой он есть – умудрился возбудить много надежд – особенно у юношества – и теперь уж, верно, сам не рад! И всполошил много умов. Боюсь, мы еще не заплатили за это. То есть – полновесной монетой.

– Вы бесконечно умны, как всегда, вы – учитель жизни, но...

– Оставьте! Может, я вовсе не хочу учить вас жизни!

– Ну, ладно! Сдаюсь! Вы остановились...

– Не больше, не меньше – как на Александре. Императоре.

Самое интересное – что он во все это верил! Сам. До времени. В эти иллюзии... Покуда не понял, что имеет дело с Россией. И что в его собственных жилах все сопротивляется тому. В нем течет кровь не самых либеральных предков. Он испугался. Одновременно и нас, и себя... своих собственных предначертаний, и как они скажутся на всех... (Она помолчала).

– А что касается любезного Сергей Львовича...

Вы рассказывали мне о вашем визите к губернатору с отцом. Вы там присутствовали при всей беседе?

– Да. То есть, нет. Сперва был общий разговор – а потом я их оставил, и пошел бродить по Пскову. Верней, так. Губернатор сказал, что ему еще надо о чем-то перемолвиться с отцом. Я и откланялся.

– Вот! Возможно, самое интересное – вы пропустили! Я – тоже местная помещица и знаю почтенного Бориса Антоновича. Не самый плохой человек. Но педант, педант. Это – немецкое. И... не храбрец – прям скажем! Совсем не храбрец. Он испугался вашей истории – больше вашего отца. И, может, в том разговоре – в той части, что вы пропустили...

– Вы чудо, ей-богу! – Александр схватил ее руку, лежавшую на столе, и жадно поцеловал. Сперва с тыльной стороны, потом перевернул – и ладонь. Она забрала руку, чуть не вытянула – из-под его губ.

– Никогда не делайте так, слышите? – но голос был не властный, робкий, почти просительный. Потом наклонилась и поцеловала его кудрявую голову в затылок – ну, где-то там, куда попало.

– Выкиньте из головы! – заговорила она, едва коснувшись устами этой беспокойной головы. Пытаясь вновь обрести тон старшей и опытной. – Раз уж вы вынуждены пока жить под одной крышей... А письма... что ж, письма... Передайте вашим корреспондентам – пусть пишут на мой адрес! Если станет совсем дурно – вы какое-то время сможете побыть у нас!

– Пейте, пейте! (Чай к этому времени был подан на стол.) И не огорчайтесь! Вы когда-нибудь с отцом, быть может, посмеетесь вместе – над этими глупостями!

Дальше они уже не были одни. Вернулись девицы, вошел Алексис – надменный и насмешливый, как всегда, начались всякие фарсы, какие на время отвлекли Александра от неприятных буден. Письмо Липранди вновь воротилось к нему и стало испытывать его понятливость. Что хотел сказать – старый бардашник Вигель?.. *«Но Вигель, пощади мой зад!..»* – он сочинил когда-то – еще в Кишиневе и пустил по кругу, как водится... друзья ругали его, боялись, Вигель обидится. Не обиделся. Или сделал вид?.. За Александром водилось это свойство – сперва высказаться – а уж потом подумать... лезть куда ни попадя – лишь бы слово звучало... Но он ничего не мог поделать с собой. *Что может знать Вигель? Он с Воронцовым достаточно короток, и...*

Но бесшабашный дом Тригорского шумел, как обычно – и ни одной путной мысли было не додумать. Он ждал сестру Ольгу – может, придет? (все спрашивали здесь про нее) – или брат Лев? и он узнает тогда, что творится в доме...

Но никто из Михайловского не явился. Обедать – несмотря на уговоры – он не остался и уехал...

ХIII

Было сравнительно рано – дневной час, но небо начинало темнеть еще засветло: дождя не было, но воздух томился дождем... По дороге – редкие желтые листья, покрытые патиной мокрой грязи, тянулись к нему с обездоленных веток, и крупные капли влаги свисали с каждой ветки – такие полновесные, как капельки поту на носу какой-нибудь дворовой девки. *Вечер, пал туман на доли...* Неужели отец и впрямь дал согласие губернатору следить за ним? Чуть ли какая! Он дворянин – и никак не мог... Это не вяжется! И не может один дворянин потребовать такого одолжения у другого. А впрочем... А милорд Уоронцов? А злосчастное письмо? А наша свинская почта? Если почта распечатывает частные письма... Александр думал сперва помотаться по полю, заглянуть в лес, но вдруг повернул коня и устремился домой – да так резво... Чего он ждал? Он не знал. Уже у конюшни, отдавая повод конюху – он понял, что все зря и из разговора с отцом ничего не выйдет. Но мы так устроены, что желание доказать свою правду – а иногда просто высказать ее – сильнее голоса разума. Нам вечно чудится – мы еще способны что-то договорить, досказать – в самых неблагоприятных для нас обстоятельствах. Во всяком случае, он вошел к отцу – стараясь быть сдержанным и даже искательным – по возможности.

– Я хотел бы объясниться! – сказал он.

– А-а... – сказал отец. – А зачем это тебе? Ты ведь так убежден в своей правоте, что чувства других вряд ли обременяют твою совесть!

– При чем тут совесть? – сказал Александр – но осекся и добавил даже неожиданно для себя: – Я понимаю ваше беспокойство, но...

– А что ты понимаешь? Вы молоды, я стар. Вы – другое поколение, вы мне все время это доказываете!

Отец говорил как-то вяло – будто то, что по-настоящему надо сказать – ему было не решиться. Да и зачем? Он был спокоен, почти спокоен...

– Во всяком случае, – добавил Александр, – я готов просить прощения – ежели чем-то нечаянно...

– Вон как? – возрился Сергей Львович, – он, кажется, впервые глянул в его сторону. – А как же – с письмом?

У Александра было несколько секунд, чтоб размыслить и ответить достойно. И если можно – сдержанней...

– Это – частное письмо, *rara*, ей-богу! Клянусь вам! Оно не заслуживает такого внимания!

– Ну, тогда... все остается таким же, как нынче за столом. Я не вижу про должения – у этого разговора.

– Отец! – простите! но когда – и в каком обществе – даже отец мог позволить себе читать переписку сына – двадцати пяти лет? Что за домашняя цензура?..

И, конечно, зря вырвалось это слово: *цензура*. Как во всякой стране, где она властвует – на Руси искони она была чем-то ругательным – даже среди тех, кто насаждал ее.

– А когда ты нуждаешься в деньгах, мой сын... и отец беспрепятственно их дает тебе – ты даже полагаешь, что он это обязан делать... – ты не задумываешься, что и он может пожелать что-то получить взамен, как-то контролировать твои поступки? Тем более... ежели ты доказываешь своей жизнью, что не вполне способен поступать разумно!

Он лгал. (Но это было так очевидно, что трудно было спорить.) Денег старшему он всегда давал в обрез, старался лучше не давать. Оттого и поместил, кстати, в Лицей – чтоб не слишком тратиться на его образование. И в Одессе Александр вечно занимал деньги... зато Льву отец давал почти без счету, и Александр не завидовал даже: младший есть младший. Только иногда ругался про себя – когда совсем уж сидел на бобах и должен был одалживать у Инзова. Или кого-нибудь другого... Он привык быть в семье нелюбимым сыном. Но все же...

– Помилуйте, *rara*... я стараюсь зарабатывать себе на жизнь. До отставки был чиновником. А теперь – литература...

– Напомню... На Руси еще никто не зарабатывал себе на жизнь литературой. Поэзия – не профессия, мой друг, и не поприще общественное. Она только – улада душ. К сожалению.

– Ну, значит, я буду первый на Руси, кто сделает ее поприщем и станет кормиться из ее рук. Когда-то ж надо открывать новую страницу? А у вас прошу денег исключительно из надобности. Стараюсь не просить. Но... я не какой-то там – приживал в семье, я – старший сын и дворянин, как вы сами... И согласно общим правилам...

– Благодарю! Вот мы и вспомнили – про общие правила! Конечно, ты мой сын, и я не понимаю, почему – всякая попытка оградить тебя от ошибок – какие вы все готовы совершить по молодости и по глупости, от тебя самого в конце концов – это вмешательство в твою личную жизнь. Цензура! Да-с, если хотите знать, милостивый государь! Цензура! Я бдительно слежу за своей семьей – как отец. Прекрасно понимая, сколько в этом мире дурных соблазнов для юношества!

Он стал в позу и добавил торжественно: – Я не хочу, к примеру, чтоб мой младший сын брал у тебя уроки отвратительного афеизма!

– По-моему, покуда он берет уроки только на сеновале, и правильно делает – в его возрасте. Можно только позавидовать. Видит Бог – есть ли мне дело до того, чтоб напутствовать его хотя бы на этом поприще! А уж на каком-то другом... Но... извольте сами судить – есть ли в этом занятии его – божественное начало и связано ли оно – с существованием или отрицанием Господа!

Глаза Сергея Львовича на секунду стали тоскливы – такой собачьей тоской. Река в кисельных берегах утекла и пропала в мертвом поле. Он был стар.

– Писатель, – сказал он грустно. – Писатель! Погоди – пока другие тебя сочтут писателем. Покуда... они не считают тебя таковым. Увы!

– Кто это – они?.. – спросил Александр, уже почти зло.

– Не знаю. Власти. Губернатор юга, губернатор севера... Государь, наконец. Кто-нибудь! Кто назначает у нас кумиры – или ниспровергает...

– Кумиров назначает толпа. Люди. Читающая публика. Она тоже не без грешна, но... Властям, увы, приходится считаться с ее выбором!

– Ты слишком самонадеян!

– Простите, *papa!* И сочтите сказанное лишь знаком сыновнего почтения... (Он помедлил.) Я не знаю, кто понудил вас... м-м... предложив шпионить за родным сыном. – Даже если сын ваш – и в чем-то виноват!.. Барон Адеркас, г-н Пещуров? сам государь?.. не знаю... (Мы живем – как в лесу – чем дале, тем страшней, вон на почте письма распечатывают!) Но только... Убежден, склоняя вас к сему – он выказал высшее неуважение к вам... как дворянину с шестисотлетним дворянством!

– Бездарность! – сказал отец негромко и почти с ненавистью. – Бездарность! Ни на грош таланту – одно самомнение!

– Может быть, – сказал Александр как-то вяло – и понял, что попал в точку.

Тут все и сорвалось. Никто не сообразил, только... Барин Сергей Львович выбежал из комнаты – и побежал по дому, крича: – Спасите! Спасите! Убивают!.. – а из комнат и со двора – один за другим, кто в домашней затрапезе, кто в мокром армяке, – стали сбегаться люди – растерянные дворовые. (Где-то в дверях мелькнула насмерть перепуганная Арина.) И набралось их сразу столько, что, даже захоти Александр – исчезнуть, раствориться, – все равно б не удалось. Выскочивший вослед отцу из комнаты, он торчал посреди залы как очевидный виновник происшедшего...

– Что с вами, *papa?* – мелькнула на ходу испуганная Оленька.

– Твой братец! (бросил ей Сергей Львович и снова закричал): – Караул! – Караул! Убивают!

– Отец, что с вами?.. – Ах, этот Лев, подлец, всегда-то его нет на месте, во-время... Опять валялся с кем-то на сеновале, весь в соломенном опереньи. Да, осень уже, осень!.. Можно зад отстудить...

– Лев Сергеич, – вскричал отец торжественно – и впервые остановился. – Ваш отец оскорблен – до глубины души!

– Что, кто? – спрашивал Лев озабоченным тоном – то ли в самом деле, не поняв ничего – то ли поняв все...

– Я требую от вас – никогда... не общаться с этим монстром! с этим вырожденком-сыном... Проклинаю! – кричал он куда-то в пустоту, полную людей... – Проклинаю!

– Да что случилось, наконец? – не выдержал Лев.

– Он поднял руку на отца! ударил... замахнулся, то есть... Хотел прибить!

– Ничего не понимаю, – сказал Лев добродушно. В его светлых кудрях посверкивали соломенные нити... И неизвестно, чем бы все кончилось, если б на пороге спальни не выросла Надежда Осиповна с огромной мокрой повязкой на лбу... (*такой мигрени у меня еще не было! о, моя голова! о!..*) – и почти силком не втянула мужа в комнату.

- Что с вами? – спросила она мрачно. – Кто вас убивает?
- Александр, – сказал Сергей Львович, вдруг потеряв весь свой тон – ставши сразу жалким и робким.
- Ну, тогда это не страшно. Я думала... кто-нибудь... Чего вы кричите? И так – жизни нет! Вы мне надоели! (И легла на постель, отвернувшись.)
- Если б вы знали – до чего вы мне надоели!..

Спустя немного времени Ольга проскользнула к Александру и принялась плакать.

- Ты не знаешь, почему... ну, почему? наша семья не может жить, как все! Попробуй выйди замуж... Это те Пушкины, у которых сын с отцом дерутся?
- Да не трогал я его, не трогал! Можешь успокоиться!
- Знаю... – сказала Ольга и продолжала плакать. – Знаю. А что теперь делать?
- Понятия не имею. Мало мне обвинений политических – так еще и уголовное! Хорошенькое дело!
- Да, успокойся ты, успокойся! Никуда он не пойдет! Никто не узнает!
- Еще бы! Ты с ума сошла! Молва сейчас пойдет по всей округе, дай волю! Все мои враги будут рады уцепиться!..
- Да что ты сказал ему?
- Сказал – что сказал! Что грех брать на себя обязанность шпионить за родным сыном.

А разве – не грех?

- Грех! – согласилась Ольга. – Не знаю сама – какая вожжа ему попала...
 - Была, стал-быть, вожжа! – сказал Александр, лежа на постели и почти отвернувшись от нее.
- Чуть погода заглянул Лев. Покашлял в кулак, похихикал...
- Вас с отцом нельзя подпускать друг к другу – ей-богу!
 - Спасибо! Это все одно, что сказать, что в пытошной палача и жертву надо как-то развести по разным углам!
 - Черт-те что это все! Черт-те что! И ты несешь – черт-те что! И он...
 - Чего он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Теперь сибирских рудников?..
 - Да успокойся ты, успокойся! Он уж взял все назад!
 - Как-так?
 - Обыкновенно. Говорит – еще бы он решил меня бить – да я б его связать велел!
 - Очень мило, не находишь? Так – чего он орал как резаный?
 - Говорит, ты посмел, разговаривая с отцом, непристойно размахивать руками!
 - А чем он хотел, чтоб я размахивал? Андреевским флагом? Слушай, маменькин сынок, пошел бы ты, а? Без тебя тошно!
 - Да ничего он не хочет! Кричит – потому что кричится. Больно! Страх это все! Вообще – у их поколения – медвежья болезнь!
 - Но я не рожден бежать за ними по этому поводу – подбирать их сранье!
 - Да пожалей ты его! Пожалей!
 - Я жалею. Ишь чего захотел – письма мои читать!
 - Пусть пока приходят на адрес Осиповых!
 - Спасибо! Без тебе б не догадался!
 - Ладно! Ты стихи приготовь!
 - Зачем?
 - Еду я на-днях. Послезавтра. В Санкт-Петербург, милостивый государь!.. Я уже отпросился у отца. Пора заниматься карьерой...

– Как же он отпустил? Любимого дитя? Истинного сына? Карьера! А кто ж будет оберегать его здесь без тебя – от другого сына? монстра? Отцеубийцы?.. И что будут делать безутешные девицы? На сеновале?..

– Ты заменишь! не разучился еще?.. на юге?.. В общем, вставай – садись переписывать. Все новое. «Онегина» – две главы, как обещал! Буду там твоим ходатаем и издателем!..

– Обойдешься и одной – главой. Я пока работаю.

– Не морочь мне голову, знаешь... и так тошно! *Матап* – вся в мигренях... А его, я боюсь, кондрашка хватит! Старый он уже!..

Вечером, в Тригорском – укрывшись в одной из комнат, Александр писал Жуковскому в Петербург:

Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен, как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, напуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче – быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться... Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся...

И дальше – все, что нам уже известно. (Пещурова он назвал не слишком уверенный. Грешил он, скорей, на губернатора.)

Прасковья Александровна в тот вечер сказала за столом: – Пушкин нынче ночует у нас! Правда, Александр?

– Прекрасно! – сказал Алексис и заплотировал. Аннет прибавила: – Можно у меня в комнате! Я перейду к Евпраксии. Пустишь меня? – сестре.

Та пожала плечами: – Пущу, конечно! (Все были радостны.)

– К сожалению, я не могу позволить гостю воспользоваться вашей любезностью! – сказала *татап* жестко. – Вы не будете возражать, Александр, если мы вам постелем в бане?

– Нет, конечно, разумеется... – быстро согласился Александр.

– Не понимаю, – возмутилась Аннет... – почему он должен ночевать в бане?

– Я не виновата, дочь моя, что все, что касается приличий – вызывает в вас непонимание! В доме, где столько молодых и незамужних девиц – к сожалению, нельзя оставлять на ночлег молодого человека! Тут уж ничего не попишешь! Даже в комнате Алексиса. Я бы не смогла.

– Да я согласен, согласен! – быстро вмешался Александр. Не хватало только ссоры еще в одном доме. И опять – из-за него!

– А времена разве не меняются? – спросила Анна почти дерзко.

– Что касается приличий – нет! – ответила ей *татап*.

В эту ночь Александр впервые ночевал – в баньке, на склоне холма. Она станет его убежищем, к коему иногда прибегают. (Но об этом дальше.) Он взял с собой несколько писчих листов, и перья, и банку с чернилами... запалил свечу в своей хранине и попытался сочинять. Что-то писал, черкал, писал, черкал... В итоге, вместо художества – у него вылилась такая бумага:

Милостивый государь Борис Антонович!

Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, прости тельную старости и нежной любви

его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.

Наутро, раздобывши конверт и никому не сказав ни слова – он надписал адрес:

Барону Адеркасу Борису Антоновичу, псковскому губернатору. И еще прибавил сверху: ***Его превосходительству...***

И попросил кого-то из тригорских слуг, наладившегося в Опочку по делам – забросить конверт на почту...

XIV

Лев уехал. Стихов он взял с собой много, хоть это – польза. Семья теперь редко собиралась за столом – Александр пропадал в Тригорском. Родители ссорились – это было видно по затравленным глазам отца – если они с Александром сталкивались поутру, они старались не глядеть друг на друга – и не разговаривать, но все же... и по поджатым губкам матери. Когда она бывала чем-то недовольна, ее губы превращались вовсе в узкую щель, а тонкий носик с горбинкой – кой мог принадлежать кому угодно – грекам, римлянам – только никак не негр-тянским предкам, – высокомерно возносился, наглядно демонстрируя тоску и скуку при виде всех присутствующих. Надо сказать, в семье порой – она злоупотребляла этим свойством своего восхитительного носа. Ольга, по возможности, тоже жалась к Тригорскому – сколько позволяли приличия... там не было весело, но и не было той тоски неудачи, которая проникала собой дом Пушкиных.

Александр досадовал на себя, что дал Льву – тот выпросил, выклянчил – среди прочего, письмо Татьяны... (Он считал это пока наброском – неудачным. *Письмо девушки, к тому же семнадцатилетней, к тому же влюбленной!*) Начнет там показывать кому ни попадя – несмотря на все клятвы, что ни-ни. Брат бывал легкомыслен – как он сам порой.

Сейчас роман то возникал в нем, как нечто цельное – то терялся, как река в полях – вился и исчезал... и он даже не знал – хватит ли пороку окончить его. Он был нездоров нравственно. Ссора с отцом и обстановка в доме играли здесь, конечно, важную роль – но не они одни. *Сердце вести просит!*.. А вести – где их взять? Он снова вспоминал письмо Липранди... Вигель?.. Что мог знать Вигель? Впрочем... а что знает он сам?.. Письмо Жуковскому уехало с братом. Василию Андреичу он среди всего еще сделал доверенность относительно своего письма к губернатору. – Так, на всякий случай. Понимал, что поступок легкомысленный. А что теперь делать? Прошло уже несколько дней, и первые дни он томился ожиданием, которое мешалось как-то с веселым детским любопытством – а что будет? И вдруг почти что про письмо позабыл. Бывает такое! Таилось в нем нечто – вроде излишней уверенности в своей судьбе. Как-то пронесет. Как – он не знал, но... И прошло немного времени – он этот свой подвиг и просто выпустил из виду. От легкомыслия. Забыл напрочь – и все! Дай Бог! Одесса опять поселилась в нем, вороша все сомнения, какие только можно – и внушая все (несбыточные) надежды.

Прошла неделя, больше – он был днем в Тригорском и дурил, как всегда. Врал направо. Как встречал на Кавказе страшных разбойников и они его почтили как своего. – Еще был вариант, как они испугались его ногтей и удрали сами – ночью, тайком, приняв его за дьявола. Он любил вранье – истории, которые могли случиться с ним, но не случались, – и со смаком их рассказывал, ему верили и не верили – все равно интересно... ну, нельзя ж, чтоб с человеком все происходило в жизни, надобно что-то и присочинить. Он внутренне сознавал, что это

вранье создает ему еще одну – параллельную биографию – для потомков. (И как они будут разбирать – где правда, где нет?) Но считал, что она тоже имеет смысл – ибо отражать будет не только – что на самом деле, – а что могло быть еще (и это интересней всего). Он смеялся про себя – вот после этого – верь историкам! И Тацит врет наполовину. (– А Карамзин? – спрашивал внутренний голос. Он соглашался через силу: – Что ж!.. И Карамзин!)

Но тут появилась Ольга из дому – влетела, раскрасневшаяся – поднялась в гору в один дых – и выпалила – как загнанный гонец:

– Мы уезжаем!

– Кто? куда? – разом откликнулись за столом.

– Все. В Петербург. Кроме тебя, конечно! – она взяла брата за руку и вдруг заплакала навзрыд. Все бросились ее утешать и забыли про все другое. И про него в том числе. Неужели его судьба – приносить только горе? И кому? Самым близким. Сестре. Печальной девочке с огромными глазами, которая любила его и которая все, что хотела – это чтоб с его приездом стало весело в доме. Отплакав свое, Ольга поделилась новостями. Оказывается, после ссоры Александра с отцом – мысль об отъезде настойчиво пробивала мать. (В цепи настоящих Надежды Осиповны была, конечно, и темная история Сергея Львовича с Аленой. Но Ольга не знала об этом.)

Отъезд семьи в деревню, в свое время, имел в виду обстоятельства чисто бытовые – никак не сводились концы с концами, город стоил дорого, столица тем паче, а без пригляда бар управители в деревне крали в три руки и слали мало денег. Но в деревне Надежда Осиповна откровенно скучала. Потом, кажется, еще шло в ход (Ольга тоже, естественно, не говорила об этом, – но по другим причинам: речь шла о ней) – *taman* удалось убедить мужа в том, что барышне здесь не житье: женихов кот наплакал, да и те, что в наличии – бомонд из Новоржева! – Название Новоржев – соседнего городка – в устах Надежды Осиповны было именем нарицательным: знаком захудалости во всех смыслах – и уж точно, беспросветной провинции. Во всех случаях жизни Сергея Львовича было легче всего склонить в чем-то, доказав ему, что где-то, кто-то, как-то – не по рангу его шестисотлетнему дворянству. Он тут же соглашался. На все отъезды, уезды, приезды, переезды... Был довод еще, что надо бы приследить за первыми шагами Льва на военном поприще. (Неудача карьеры старшего сына была в этом смысле козырной картой. Остался один, и... что хорошего вышло?) Возможно, еще всплывала мысль, что Александру, буде ему выпала ссылка – лучше в самом деле – побыть одному. Ольга сказала, что в доме уже идут сборы. Брат с сестрой еще посидели немного и откланялись.

Надо сказать, вместо радости, какой можно бы ожидать – Александр, возвращаясь, испытывал грусть. Одиночество, что ожидало его, вдруг встало во весь рост – и не показалось вовсе заманчивым. Он не терпел одиночества. Раздражался, бывало, когда ему мешали, – и порой мечтал о нем, лежа в постели и сочиняя, – но предпочитал иметь возможность в любую минуту выйти из него. Так было в Одессе, в Петербурге... и всюду. Он вдруг понял, что всегда тянулся к семье – даже такой нелепой, как его... (Встреча с семьей Раевских тоже сделала свое дело.) Он не любил – быть нелюбимым сыном.

Воротясь домой, он прошел к себе и закрылся в своей комнате. Он не хотел присутствовать при сборах. Лег на кровать ничком и натянул одеяло на голову. Благо, было прохладно... Все уходит. Все уходят. Разъезжаются. Дальше унылая зима в холодной пустоте деревни. Из Одессы писем нет – и не будет. Кто ты такой – чтоб она писала тебе или думала о тебе? Люстдорф остался ручейком, исчезнувшим в степи.

В комнату постучали – он отозвался не сразу. Вошла мать, она редко, признаться, навещала его в его комнате. Раза два или три... Он приподнялся навстречу. Мать была не в чепце, узкий платок, подобие шарфика – стягивал ей лоб. Это было элегантно.

– Мы уезжаем, – сказала она и вдруг пересела – с кресла к нему на кровать.

– Я знаю, – сказал сын.

– Я убедила отца. Не могу сказать, чтоб это было легко! (Хмыкнула, впрочем, невесело, ничего веселого!)

Он взял ее руку, поцеловал.

– Не думай, что я не страдаю вовсе – что все так сложилось у тебя!

– Я понимаю, – сказал сын.

– Может – да не совсем!.. Ты всегда немного страшил меня – своей одинокостью, – сказала она. – Дичок какой-то! И я не знала порой, как к тебе подойти. Но я – мать, и ты мне дорог. (Вздыхнула.) Я тоже... была всегда одинока. И ты это тоже не понимал.

– Я люблю вас, *taman!* – сказал он.

– Но ты не слишком сердись на него – он тоже одинокий человек!

– Я не сержусь, – или, вы правы – не слишком. Я всегда гордился вами... вашей красотой!

– Да брось! Что – красота? Не смейся! Только то, что порой тешит тщеславие. Ты еще поймешь!.. Это то, что исчезает быстрее всего и приносит радости менее всего!

Он поднял голову. В ее глазах стояли слезы. Немного, не слишком... Но для светской женщины – в самый раз. Впервые, может, в его жизни она плакала об нем – теперь это точно относилось к нему. И нелюбимый сын ощутил это сердцем. Под сердцем. Он снова поцеловал ей руку. У самого глаза на мокром месте...

– Я буду скучать по вас! – сказал он.

– Я знаю, – кивнула мать. – Я знаю... – Арина остается с тобой. Мы так решили с отцом. – И вышла. Аккуратно прикрыв за собою дверь.

Потом пришла Ольга и проплакала остаток вечера. Вот уж кто умел плакать самозабвенно! Пришлось отдать ей три носовых платка. Ей не хотелось уезжать. Ей не хотелось оставаться (в деревне). Ей хотелось замуж. Удачно. А потом... Чтоб были стихи брата, веселый круг – простых понятных молодых людей... чтоб танцевали... но чтоб к тому ж обязательно говорили о высоком. (Она все-таки была сестра Пушкина!) А теперь предвкушала с отвращением... что будет вновь – большая, вечно неприбранная квартира... и вечные разговоры о том, как мало денег и как их не торопятся присылать из имений. Болдино, Михайловское... И Михайловское снова станет лишь одним из названий: местом, откуда управитель не шлет денег. И таких приятельниц, как в Тригорском – почти подруг – у нее больше не будет. (Там уж точно не будет, в Петербурге!) Выйти бы одной из них замуж за Александра! Она перебрала мысленно всех тригорских дев – навскидку, немало, – остановилась на Аннет: вот бы славно! Он был бы счастлив – ее брат, Аннет любила б его и никогда б не изменяла, это точно! И ей самой – Ольге – было б легко с Аннет как с невесткой. Но Аннет – не для него, ему будет скучно с ней. И впрямь – в ней какая-то излишняя правильность, все по полочкам. А брат – не виноват, он такой уродился – весь неправильный по природе! Ох-ти!.. И вздыхала. И плакала, и вытирала платочком слезы – и он искал в беспорядке полусломанного шкафа – еще хоть один платок для нее. Нашел – где-то среди тетрадей «Онегина». Как он здесь очутился? (Этот вечный беспорядок в доме!) На вот! На!.. И отирал ее слезы сам, и сам готов был разрыдаться.

Через день все уезжали. Карета и три возка расположились полукольцом со стороны парка. Он вспомнил, как он сам, несколько времени назад – лихо подъехал к дому, с этой стороны. И все высыпали ему навстречу. Тогда было начало, теперь конец? Он тосковал.

Он вышел к бричкам – весь мрачный, в темном старом плаще... И глядел исподлобья уныло – как все кончается. Семья, дом... И как *taman* и Ольга прощаются с дворовыми. С некоторыми – с бабами – целовались. (И это тоже было – крепостное право!) Все крестились и крестили друг дружку: – Приезжайте! Приезжайте! Когда-то свидимся!.. – Арина была один сплошной крест – только и взмахивала перстами и плакала без остановки. В деревне – это высший миг, когда плачут. (Потому здесь так любят – рождения, свадьбы, похороны, разлуки! Одна Русь, пожалуй, в мире вникнуть смогла в эту вечную печаль всемирной жизни! И, слава

Богу, на селе слез не занимать – ручьями текут. Ливмя...) Бабы отирали подолами лица и снова ревели.

– Ты присмотри тут за ним! – сказал Арине строго Сергей Львович. – А то скиснет совсем. Сопьется! – не дай Бог!

– Да вы уж не сумлевайтесь! – сквозь слез сказала Арина, – впрочем, не без ехидства. Мать притянула кудрявую темную копну сына, поцеловала в лоб и перекрестила голову. Впрочем, в голове и таились все опасности. Она-то это знала.

Отец подал руку остранным... – Подумай над всем, что произошло! – сказал наставительно, и, понизив тон: – И завиральные идеи эти – брось!..

Сын пожал холодную высокомерную руку.

– Привет всем! – сказал он, чуть не выдавив из себя... – Жуковскому, Карамзиным... Скажите – жду новых томов!

– Скажем, скажем! Непременно скажем! – засуетился вдруг отец. – И Екатерине Андревне передам твой привет! – Он снова был сам собой – на высоте и говорил с сыном о возвышенном. Как положено родителю. Он сызнова был приятелем Карамзина, родней по духу Жуковского, Вяземского... Их много связывало с сыном. – Пиши, не ленись! – добавил он на всякий случай почти интимно. Кто как не он, отец, обязан быть в курсе литературных интересов сына?

Ольга подошла неловко, уронила головку к нему на грудь. Он обнял ее – и поднял – она заболтала ногами в воздухе.

– Береги себя! – шептала она. – Береги!..

– Ольга, Ольга! Это уж вовсе не комильфо! – попенял Сергей Львович.

– Оставьте их в покое! Она сестра ему! – буркнула Надежда Осиповна и села в карету. Все отъезжающие уселись в карету, а возки дернулись – готовые тронуться за ней.

– Приезжайте снова! – махали дружно дворовые. – Приезжайте!

Потом... все покатило по кругу – круг сомкнулся и разомкнулся, и все стало двигаться, удаляться, исчезать. И пропало из виду... Люстдорф, Люстдорф! Александр бессмысленно смотрел вслед.

Он остался один...

Он вернулся в дом и снова стал знакомиться с ним – как сначала. Дом, который покинули люди, уже не совсем тот, что прежде. *«Онегин шкафы отворил: – В одном нашел тетрадь расхода, – В другом наливков целый строй... – И календарь осьмого года...»* – Он прошелся по комнатам, открывая и закрывая шкафы. Пустота... Дом вдруг постарел – на десятки лет. Он вновь отошел к Ганнибалам, и Пушкиных здесь не ночевало. *«Он в том покое поселился – Где деревенский старожил – Лет сорок с ключницей бранился, – В окно смотрел и муч давил...»* Кой-где валялись еще оставленные вещи – те, что решили не брать в последний момент. Скоро Арина с девками приберет все – и все. Он подобрал с полу Ольгину заколку для волос и долго вертел в руках. На спинке кресла лежал перекинут материнский платок – мигренный. Он столько раз видел его на голове у матери, что теперь, валявшийся просто в креслах, он внушал суеверное чувство – почти страх: отнятой головы. Вещи долговечней людей – их памяти, их усилий. Он сказал вслух, себе: *«Одиночество мое совершенно, праздность торжественна...»* Если честно – он совершенно не представлял – куда себя деть. Мир запахнул на нем этот плащ – и взял на застежку. И оставалось только... что оставалось?

Прослonyaвшись по дому часа два – и так и не найдя себе места – Александр помчался в Тригорское – под крыло Прасковьи Александровны. Она умела оказывать на него благодное действие. Но она, как назло, как раз (светская львица!) – упорхнула в гости к соседям-помещикам... новоржевский бомонд, который она вечно ругала на чем свет – наполовину состоял из ее родни – после двух мужей у нее тут осталось пропасть родственников обоего полу.

Так что – дома из девочек он застал только Анну... Она улыбнулась вымученно – хотя и обрадовалась: к кому бы он ни приезжал в их дом – она знала, что не к ней.

– Ах, Александр! Как все ужасно, право, ужасно! – она имела в виду всеобщий отъезд, Ольгу – по которой намеревалась скучать, его одиночество, свое одиночество... То, что у нас проносится в мыслях всегда более того – о чем мы говорим. (Бедные мы! Как мы невыразимы в слове! Не высказаны.)

– Сготовить вам кофию? – спросила она робко.

– Нет. (Он нахмурился, потом расправил морщинки – все в порядке!). – Как говорил один мой приятель – рюмочку водки, ежели она у вас есть!

– А если только наливка?

– Хуже... но что есть!

Водка нашлась – только теплая, не из погреба. Он поморщился, выпил... На закуску он даже не взглянул.

Почему-то он вдруг стал глядеть внимательно на собственный перстень. – И так повернул, и так... Девушка тоже заглянула.

– А что там написано?

– Понятия не имею. Вроде, иудейские письмена. Имя какого-то рабина караимского – мне говорили.

– А что это – караимы?

– Племя! Верно – хазарское. Живут в Крыму – и веруют, как иудеи. Но это – мне как талисман!.. От сглазу. От белого человека.

– Почему непременно – от белого?

– Сам не знаю. Мне нагадали, что погибель меня ждет от белого человека!

– А вы сами разве – черный?

– А как же! в какой-то степени! Ваша младшая сестрица, если помните, сразу отличила. По сему признаку. Это неслучайно! Дети видят все удивительно правильно. Вам не хотелось бы – назад, в детство?

– А вам?

– Не знаю. Не могу решить. Нет, скорей – это страшно!

Вот-с! Я и есть – арап. Арап Петра Великого. Лишь великий государь мог вывезти невесть откуда арапчонка-раба, чтоб он, в итоге, стал здесь Пушкиным!

...Хвастается? Или дразнит с тоски? Даже просто думает вслух. Это редко с ним бывало – то есть, при ней. Все равно ей было хорошо – что он говорит. Она даже могла не разбирать слов – только звуки и близость. Он выпил еще рюмку...

Девушка была рядом и, кажется, любила его, но то была не она. А где она? Он не знал. По правде говоря, временами, он нетвердо сознавал даже – кто она. «Только вряд... найдете вы в России целой – Три пары стройных женских ног...» Трех пар и не было. Были только две. И те потерялись. «Говорят... вы влюблены во всех... я безутешна!» Девочка на берегу. Которая исчезла, чтоб стать Татьяной. Неужели и эти ноги кто-то, когда-то... грубой мужской рукой?.. (Он вспомнил свои прежние мысли.) Теперь выросла... Наверно, скоро замуж. Круг жизни замкнется, уже смыкается. Экипаж из Люстдорфа, покачиваясь, терялся где-то в степи.

– Идемте гулять! Вы, должно быть, засиделись здесь... – он чуть, было, не сморозил: в девках – но во-время примолк.

– Но я должна одеться. Это долго...

– Пусть долго! – он был великодушен. Чуть пьян и великодушен.

Они вышли. Капор обрамлял ее личико полукружьем («лицо обрамленное» – штамп, но, что поделаешь, тут оно, в самом деле – было обрамлено), пелеринка пальто спадала с плеча... она раскраснелась, торопилась, сбивалась с шагу – она впервые шла с ним... Споткнулась –

было мокро, осенняя трава лезла под подол – ей дважды пришлось приподнимать юбки – достаточно высоко:

– У вас красивые ножки! Пользуйтесь этим! – сказал он без стеснения.

– Правда? – она зарделась. Но все ж решилась – робко: – А как – пользоваться? – Она была наивна и добра.

– Ну, не знаю, – сказал он с мужской важностью. – Красивые ножки, учтите, бóльшая редкость, чем хорошенькое личико! А мы, мужчины, как правило – поверхностное племя! Мы постигаем мир снизу вверх – то есть, постепенно поднимая глаза...

– Вы – ужасный человек!

– Возможно. Но я написал не так давно, что *«вряд – Найдете вы в России целой – Три пары стройных женских ног!»* – И немного горжусь этим своим открытием.

С горы они сбежали, он взял ее за руку. Она запыхалась, прижалась спиной к дереву.

– Намокнете, был дождь, – сказал он, как старший. – Легко взял за спину, как в танце – и легко оторвал от дерева. Она не сопротивлялась. Она была в его власти... щека горела. Он наклонился и поцеловал эту щеку.

– Вы сумасшедший! – сказала она тихо.

– Да. А что?..

– Я знаю, я скушна! – вдруг заговорила она, когда они уже шли по лугу, почти берегом Сороти. – Сама не знаю, как это получается! Иногда... размозжила б себе голову, ей богу! Так хочется сказать... что-то остроумное, необычное... что радует или волнует... что способно привлечь внимание... А получается какая-то стылая чепуха. Вчерашнее жаркое. Сама чувствую – но чувствую также, что не могу иначе. Почему это, как вы думаете?..

– Не знаю.

– Как так? Вы поэт, писатель – вы должны знать! Скажите откровенно, как мужчина... чего не хватает во мне?

Он вспомнил, как ответил однажды на этот вопрос себе – когда думал о сестре: – Порочности!..

Но ей он сказал: – Милая девочка! Если б это кто-нибудь мог знать! про вас, про меня! про всех... Ответа нет! Ответа не будет.

– А литература?

– Что – литература? А-а... Пытается ответить... но ей не под силу. Чаще всего – ей это не под силу! Но ножки... вы запомните, это богатство. В нашем удручающе поверхностном мире...

Он снова склонился и поцеловал ее в щеку. Она приняла послушно. Щека пылала совсем – только была еще мокрой. Он испугался сперва... но объяснил себе, что дождь висит в воздухе, – и как все мужчины, легко успокоил себя.

Обратно шли той же дорогой и взявшись за руки. Вверх по склону, медленно и со вкусом, говоря о каких-то решительно пустяках и получая от этого удовольствие.

– Помните, как вы с Зизи стали меряться талиями? У вас оказалась почти такая же. Так вот, моя ничуть не толще, объявляю вам со всей ответственностью, г-н поэт!..

– Надо будет померяться! – и смеялись от души. Они снова оказались у дерева – в той же позе, за которой должен был последовать поцелуй.

– Стойте! – вдруг вскричал он. – Я совсем забыл! – и неловко отстранился от нее.

– Что с вами? – попыталась... она.

– Не спрашивайте! – И больше не взглянул на нее. Это было бегством. Она смотрела на него почти с ужасом. (Да просто – с ужасом. Почему – почти?)

– Мне нужно скорей, скорей!.. – повторял, как в лихорадке, – коня! скажите кому-нибудь... Коня!.. (Когда он приехал, коня его куда-нибудь уводили.)

– Бежите? – сказала она и даже сыскала в себе улыбку: – Бегите!

– Да, нет... Я после объясню. Я... Вы не верите в себя. Это плохо. Кто же будет верить в вас, если не вы? – говорил он отрешенно – а сам смотрел куда-то в сторону и ждал коня. Ему подвели...

– Нет, нет... – говорил он уже в седле. – Не надо! Не думайте! Я после, после... – и конь уже ходил под ним ходуном. – Я потом все объясню!

– Не думайте так! Неправда! – кричал он уже издали, неуверенный – слышит она? не слышит? Дал шпоры и был таков.

А вспомнил он про свое письмо губернатору.

XV

От губернатора не было ответа. Может, не дошло? (Слабая надежда! Такая слабая!) Думает?.. или, может – успел переправить в Петербург? Как он мог забыть? Письмо к губернатору! Он, и правда – не в себе. Совсем ненормальный. Как можно забыть?.. Но губернатор, верно, не забыл. Письмо гуляет в канцеляриях. Потому и нет ответа. Теперь, когда все развеялось и все страхи позади – начинать сызнава со страха... Но он ведь сам писал «прошение на имя» – и недвусмысленно: «да соизволит (государь) перевести меня в одну из своих крепостей»... И все. Крепостей! С крепостью не шутят. Он не создан для крепости! «Жду этой последней милости от ходатайства вашего превосход...» Ничего себе! Что он наделал? И как ему это взбрело? Взбрело. Бывает. Где письмо? А письмо могло быть теперь где угодно. И даже на столе у государя... В папке: «для решений». Его судьба *решалась*.

К вечеру он был в Опочке. Почта, конечно, давно закрыта – но кто-нибудь там есть? Все почтари всегда живут при почте. Вдруг не отправлено? Затерялось. (Слабая надежда! Какая слабая!) Он спросил у первого попавшегося мужика – где почта? Мужик ответил непередаваемым жестом – вместе, телом, рукой и головой – жест, который по российским понятиям означал, что почта могла быть где угодно. Александр на коне болтался по Опочке, покуда кто-то еще не показал ему кнутом – туда, и он поехал туда и, в конце концов, – оказался пред домом, где на мокрой доске при входе двуглавый орел был весь огажен прочими птицами, которые возвышались над ним – и живехонькие сидели на крыше – голуби, – и сквозь потеки густого помета (след их существованья) – проступала слабая, как надежда, надпись: «Почтовое ведомство».

Вход был закрыт и столь основательно – что было ощущение, будто он ввек не открывался. Но Александру было *надо*, и, сойдя с коня и привязав его к изгороди, он отправился на розыски. Путь лежал во двор, заваленный весь сырыми дровами, полурассыпанные поленицы и неукрытые под дождями бревна катились под ноги и свидетельствовали, что хозяин – если и есть, то из рук вон плохой. С внутренней стороны дома была еще одна дверь, она смотрелась не такой уж пришитой к косяку – но тоже была заперта, и он стал стучать и стучал долго, покуда не услышал спасительный кашель... Кто-то кашлял громко и с удовольствием, словно не кашлял – а прочищал горло, как птица... потом едва послышалось: – Какого черта?.. – и незатейливый, но громкий и живой мат счастливо засвидетельствовал чье-то приближение...

Ржавчина замка пропела свою солдатскую песнь, и на пороге вырос мужик, как все – в рубахе с напуском, в портах, босой, но в очках – что было в удивление – и несомненно свидетельствовало чистую профессию – и благородство духа.

– Чего тебе? – спросил он простым хамским тоном, но присмотрелся и добавил: –... барин! В его жилах оставалось еще некоторое количество кровяных шариков – не одна только сивуха проклятая, счастье наше!

– Почта мне нужна! – сказал Александр.

– Пошта закрыта! – отбарабанил мужик с той радостью, какая бывает у людей, когда они позволили себе не исполнять своей работы. – Вечер на дворе.

– Вижу, что вечер, – сказал Александр и буквально толчком – туловищем – своим вперед мужика назад в его комнату.

Под иконкой в углу стыла свеча, и паутинка охватывала икону наискось – с одного боку, так что и лик Божий светился одним только глазом, а другой был в тени. На столе же вообще творилось нечто невообразимое: ошметки, огрызки, объедки... вдобавок две мыши, забравшись на стол и презирая вошедших людей – правили пиршество тела и духа, расположась под пустой на две трети четвертью самогонки, цвета детской мочи...

– Письмо мне нужно, – сказал Александр, – отправил, да нет ответа. Важное. Может, пропало?..

– Может, – кивнул почтарь готовно, – у нас все можно... пропасть – так пропасть! Все можно!

И вдруг... Александр даже не сразу понял, что случилось – почтарь бухнулся в ноги ему – колени так стукнулись об пол, громко – что даже мыши испугались и стали небыстро сползать со стола.

– Прости, – барин! – в глазах почтаря стояли слезы.

– Да что прощать тебе? Мне письмо надобно!

– Виноват, прости! Никак больше недели писем не отправляю! Грех попутал! Тоска смертная!..

– Не отправляю, говоришь?

– Вот крест! не отправляю!

– Все пил?

– Все пил!.. И себя позабыл, понимаешь, и что на место поставлен! Раб-человек! Грешный сосуд! От меня жена ушла к другому!..

– А-а... недавно?..

– Да... недавно-давно... лет пятнадцать уже!..

– И все оплакиваешь?..

– Да нет! Не сказать – чтоб все... а бывает, прихлынет! Как вспомню – пью, а так... в рот не беру! (добросовестно пояснил он).

– Понятно! Так, где письма?..

– Какие?

– Неотправленные... – А-а... сейчас-сейчас! Погоди, барин! И все, главное, в полном порядке! Можешь не сумлеваться. Как же так? Люди ждут, печалуются, может – плачут... Ох-ти! Вины наши несметные! А как пред Богом предстанем?..

– Ну, где? где?..

– Сейчас-сейчас! – почтарь засуетился, поднялся с колен, – надел что-то на ноги – шлепанцы, потом опять снял, мешали ему... он явно трезвел... взял одну свечку целую, потом огрызок свечи. Запалил обе. – Пойдем, барин!..

Толкнул дверь – и они вошли в святая святых – соседнюю комнату, где и была почта.

Она лежала на столе – не соврал – в некотором порядке. Даже сложенная. Аккуратные ряды – четыре, не менее – вдоль стола. И еще два мешка подле, на полу. И одна мышь сосредоточенно грызла мешок с угла...

– Вот и все богатство! – сказал почтарь. – Мыши, вишь, беда! Докучают. Не понимает тварь – что люди ждут весточки от кровинки!.. Эх!.. Ну зачем эта тварь человеку дана – в сопроводители?..

Александр, если честно, был растерян. Перебрать всю груды, а потом еще мешки... Да и мыши...

Он взял одну из свечек у почтаря и подошел сперва к столу. И, не зная, как приступить – ребром ладони разделил один ряд – где-то посередине. Он и распался – на две части.

Письма пали набок – в ту сторону и в эту. И в этом разделенном надвое ряду – первым изнутри было:

Его превосходительству барону Адеркасу Борису Антоновичу, псковскому губернатору. И подпись: *Пушкин.*

– Ваше, что ль? – спросил почтарь обрадованно.

– Мое!

– Братцы! – запричитал почтарь. – Братцы, люди русские! И почему так получается? Думал человек – письмо пропало, потерял, важное, беда – ан нет, а письмо само идет к нему в руки!

Александр еще взглянул, на всякий случай. Там, где был разъем – одно письмо высунулось и торчало наискосок, углом – как-то боком. Он вытащил его двумя пальцами – сам не зная зачем – и прочел знакомое: «**Ф. Ф. Вигель**»

– Тоже ваше? – спросил почтарь, все больше трезвея.

– Мое! Спасибо, брат! – сказал Александр, и вытащил кредитку. – На вот! На опохмел!..

– Премного благодарны! – почтарь взял кредитку, на свет даже при свечке рассмотрел – все чин по чину. Чем отличается русский человек? Доверчивостью в смеси с недоверчивостью. Так и живем, стал-быть.

– Может, самогончику по такому случаю, барин? – спросил он заискивающе – провожая Александра назад, к себе в комнату. – Только... беспорядок тут! – То, что он нарек «беспорядком», на самом деле, в русском языке названия не имело.

– Может, с парадного ходу?..

– Нет, не надо! Уж веди – как зашел! – и вышел на крыльцо. – А почту-то отправь, неудобно как-то!..

– Как не отправить, барин, как не отправить... когда люди ждут. Сейчас же, в аккурат! свинья-человек, всякий согласится! Свинья! И все-то он только об себе заботится! Ты об народе подумай!..

– Ладно, ступай в дом – простудишься! – Александр усмехнулся его виду. – Тот стоял пред ним в рубахе навыпуск, босой, переминался – и даже чуть не навтыяжку. Дождь начался. Отвязав коня, Александр еще сколько-то времени вел его в поводу.

Он какое-то время не думал о Вигеле – слишком сильного он избежал крушенья. Письмо Адеркасу у него в кармане! Он иногда запускал руку в карман, за пазуху и убеждался – оно там. Оно! *Нет, с крепостью подождем еще, Александр Сергееч! Правда? С крепостью... как-нибудь! Еще не время!..* – и снова трогал письмо. Он вспомнил, как Измайлов – издатель «Благонамеренного» объяснялся с публикой своей – с подписчиками... почему он не выпустил в срок журнала: «Я на праздниках гулял!» Как просто! Гулял! Какое счастье! Он, Александр, родился в стране, где можно даже журнал не выпускать, *гуляя...* и почту не отправлять неделями... потому, что тоска... и пьется... и жена ушла – бог знает как давно. – *Ха! Я на праздниках гулял, гулял – я на праздниках гулял!..*

Он вскочил в седло и помчался в Михайловское – под дождем.

Письмо от Вигеля он распечатал уже дома:

Дорогой мой, незабвенный Александр Сергееч!

Ваш друг Липранди требует, чтобы я отписал к вам – я имел неосторожность пообещать ему, буде я поделился с ним своими сомнениями или наблюдениями – а он уперся: пиши, да пиши! – человек, мол, должен знать, что случилось с ним. Подчиняюсь – не без сомнений. Мы живем в печальном мире – и иногда лучше не знать. Но...

История, случившаяся с Вами, привела меня в отчаянное состояние, но и заставила много что обдумать. Вы знаете мою привязанность и преданность Вам. Для Вас так же не секрет моя близость с графом

В. Оттого Ваша с ним ссора была мне ножом по сердцу, мне была дорога Ваша молодая слава – и, вместе, я не мог спокойно глядеть, как одна из наших слав губит другую. Вы и он, он и Вы – были созданы споспешествовать один другому, а оказались по разные стороны на поле брани. Глупость? Случайность? Уезжая, разумеется, Вы изволили во всем винить его, понятно! Ваши вириши, пущенные Вами в свет – были прекрасны – но страшны своей несправедливостью. Потому что перед Вами был тоже – несчастный, уверяю вас – несмотря на положение свое – обманутый и страдающий человек.

А за Вашей ссорой – теперь мне точно известно – стоял некто, кого я до времени не хотел называть, и которого всегда не переносил, а Вы как раз почему-то избрали его себе в друзья и чуть не путеводители. Умолкаю. Помните, я сказал Вам – если Вы африканец, как Отелло Шекспиров – не страшит ли Вас подле – присутствие Яго?.. Впрочем... Вы все сказали об нем в Вашем стихотворении «Демон» – так, кажется? Вы все изобразили в точности, как поэт – хоть в жизни были на редкость неосмотрительны.

Я недавно узнал правду, и моим первым побуждением было скрыть ее от мира, и от Вас в том числе. Но потом... Я подумал, извините, о Вашей молодости – и еще что опыты, даже отрицательные, скорей способны помочь нам избежать судеб, чем все счастливые эмоции, вместе взятые. Как старший – я обязан Вам помочь, так думалось мне. На эти размышления мои, конечно, наложились увещевания благородного Липранди.

Так, слушайте, мой друг! Вы были обмануты... и, как говорят в простоте – подставлены злему случаю! Все, что дальше я скажу – разумеется, есть предмет величайшей тайны, и взываю к Вашей скромности – хотя и уверен, что есть все основания на нее рассчитывать.

Я не сужу чужих семей. Как не люблю, когда мне ставят в вину или в насмешку – мои привязанности, кои Вам известны. Когда судят семью – ту или иную, мужа или жену – никто ведь не способен знать – каково этим людям друг с другом? Чего им не хватает? что им мешает? Ваш друг Раевский Александр взращен был в известной семье и с детства привык свободно пользоваться ее славой в этом мире – то бишь, славой своего родителя. Но это вовсе не значит, что он сам способен быть славен. Это постепенно источило его завистью – и стремлением вмешаться где можно: принизить великое, испачкать чистое... В этом смысле – и Вы, и граф В. были равно его достойной мишенью...

К сожалению, легкомыслие некоторых особ противоположного полу – помогло ему с успехом свершить задуманное.

Я недавно узнал, что же произошло. Внемлите с достоинством и твердостью! – Существует уж не первый год связь – в прямом и низком смысле между графиней и ее кузеном – г-ном Раевским. Родство и особое отношение матери графини к своему племяннику помогли этой связи существовать довольно долго, у всех на виду, не вызывая никаких кривотолков. Графиня прекрасна и легкомысленна – может, добра, слишком добра... я ей не судья. Но, когда эта связь оказалась под угрозой раскрытия... появились Вы. Вашему другу-демону ничего не стоило убедить графиню, что в ожерелье из ее поклонников Вы как поэт, чье имя все больше на слуху в России – алмаз, способный занять достойное место – может, незамещенное. Вы заняли его – и дальнейшее Вам известно лучше меня. Я не виню графиню – она слишком прекрасна, чуть избалована более, чем нужно,

повторюсь, легкомысленна, но... Она согласилась без сомнения с Вашей ролью ширмы – до поры, пока не пришел черед выставить Вас перед графом как козла отпущения или, как предмет естественной ревности. Я знаю, что Вы любили ее иль любите. Сыщите в себе снисхождение, не вините ее! В сущности, несчастная женщина, ибо быть связанной с такой личностью, как г-н Раевский-сын... Не ведаю, чем Вам отплатили за это – или чем Вас утешили (простите!) – но теперь эта связь с г-ном Раевским развивается, сколько мне известно, свободно – и пока без помех, ей нет причин прерваться, – потому что главный виновник – Вы – впали в немилость, удалены и прочее.

Вспомните, что я Вам говорил – об Афродите-Пандемос, то есть Порочной – и Афродите-Урании, о связи духа! Об сем можно думать и так, и этак – и вовсе не думать – предоставляя все круговращению Небес – в пространстве, где все смертно, кроме них...

Извините меня, если положил в Вашу, возможно, не совсем окрепшую в опытах души – немножко зрелого дерьма... но уж такова моя доля в этом мире.

Страждущий о Вас и преданный Вам – боле, чем Вы думаете
Ф. Вигель.

«Но, Вигель, пощади мой зад!» Вигель пощадил его зад, но не пощадил его душу...

Странно, ни одной секунды Александр не усомнился, что в письме все правда. (Ну, во-первых, Вигель не стал бы лгать – паче, про жену Воронцова. Он был злоязычен, но не лжив. Из педантства ли, из добродетели – кто знает?) А во-вторых... Было тут какое-то звено... которое он сам Александр прозревал... но слаб человек! Не мог себе признаться.

Он укрылся одеялом с головой и плакал под одеялом. То были первые слезы его взрослой жизни – может, вторые, не более... Никого не надо, ничего не надо. Слезы были – зрелость души. Он становился взрослым.

Он натягивал одеяло на голову, но становилось жарко. Он был в бане кал мыщ кой. Кто-то входил – возникал из чада, из дыма и говорил: – Вы – Пушкин? Я – Раевский, Александр...

*Но если ты слепую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье...*

Раевский, конечно, знал про Люстдорф. Как он спросил тогда? «Вы утешены?..» Александр слишком хорошо знал обоих – и его, и ее, знал не только нравственно – но и... въяве (если б не эти совместные походы его с Раевским в баню!) – чтоб воображение не раскрывало перед ним роскошных гибельных картин.

*Но если сам презренной клеветы –
Ты для него невидимым был эхом...*

Одолжил. Словно в покрытие карточного долга. Дал на подержание... Впрочем, возможно, он слишком циничен, чтоб его занимали такие вещи! Или слишком равнодушен. «Фаллический бонапартизм»?.. И вновь принимался плакать под своим одеялом.

*Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом...*

Нет. Он просто слишком плохо думает о мире! Беспощаден к себе, беспощаден к другим... Нет, себя-то он любил. К себе-то он, как раз, пощадлив.

А она? Что она? И что это было с ее стороны? Просто благодарность? Или, все же... Хотелось еще раз увидеть ее. Но, как ни тщился – не смог ничего различить в темноте. Тропинка счастья? Да, тропинка... Голос ее звучал – но ее не было. И плакал снова.

*Тогда ступай, не трать пустых речей
Ты осужден последним приговором!..*

Утром он не поднялся к завтраку с Ариной. Он стал записывать быстро – еще не зная: стихи это или просто воспоминание. И надписал сверху: «Коварность». Экипаж из Одессы застрял – и так и не доехал до места.

Онегин наверняка убьет Ленского в дуэли. Они несовместимы!..

Он лежал так долго. Может, день, может, два...

Потом пошевелился в постели и сел рывком – сбросил ноги. Весь узкий такой, невысокий, а ноги длинные – почти мальчик.

– Арина, – крикнул он бодро, – Арина! Завтрак!

Тогда, в ноябре, он писал брату Льву, в Петербург:

«Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, что, слава Богу, все кончено. Письмо Адеркасу у меня, а я жив и здоров. Что у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! voila une belle ocassion a vos dames de faire bidet.¹⁸ Жаль мне «Цветов» Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской? Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются...

*Прощай, душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как тот после потона.
NB. Я очень рад этому потопу, потому что зол»...*

Он вряд ли стал бы так подсвистывать происшествию, если б сам был там и видел, что там было... Но... он, и вправду, был зол. А наша неправота – как обратная сторона луны – то есть, нашей правоты. (Уж эта рыжая планета – вечно подсовывает нам метафорику!).

Для того, чтобы стать Онегиным – нужно убить в себе Ленского!..

В метельном феврале, когда истек срок траура в Тригорском – он впервые уснул в банке на склоне в объятьях... Прасковьи Александровны Осиповой.

Конец Первой книги

¹⁸ Наконец-то случай нашим дамам подмыться! (фр.)

Книга вторая. Естественный враг покоя¹⁹

Поговорим о странностях любви...
А. Пушкин

Часть первая. Апрель

Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остро умным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из романа целую главу... по причинам, важным для него, а не для публики.
Отрывки из путешествия Онегина

I (Пропущенная глава²⁰)

Еще раньше, в январе приехал Пущин.

Александр долго ждал, что кто-то навестит его... По думаешь – триста верст! Или триста пятьдесят? Он бы пустился, не глядя. *«Он верил, что друзья готовы – За честь его приять оковы, – И что не дрогнет их рука...»* – ну и так далее. Но никто не ехал. (Как всякому невольному затворнику, ему казалось в ином, свободном мире – все куда-то ездят, перемещаются.) Всем было не до него. И то сказать – там, вдали, Петербург трудно оправлялся от наводнения. Все отделялись письмами и учили его жить. – Что ужасно раздражало.

Это получалось невольно. Когда тебе везет – люди почитают естественно твое чутье жизни правильным. Но стоит напороться на неудачу... Это касалось не только родни, но и друзей. Конечно, хорошо, стоя на берегу Сороти, повторять чье-нибудь, из письма: *«Какая искусная щеголиха у тебя истина!»* Или: *«Ты имеешь не дарование, а гений»*. Однако этот берег чудился пределом его судьбы. *«Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга!»* – утешали его.

– Благодарю вас! Я предпочел бы скучать с вами там!

И тут явился Пущин. Свалился, как снег на голову, ранним утром (в самом деле шел снег.) Он ехал из-под Острова, от сестры, где провел три дня (отметим про себя! и Александр это тоже отметил – но после) – а перед тем встречал новый год в Петербурге. Три бутылки Клико, которые он привез с собой – прихватил в Острове, – оказались весьма кстати: в доме, кроме наливок (целого строя) и лечебной водочной настойки на травах – сейчас было хоть шаром! (Нет, был еще ром, который Александр употреблял в чай, но того оставалось кот наплакал.)

...В дому они обнялись и стояли, охлопывая друг друга, как свойственно мужчинам – что сим жестом словно поверяют материальность встречи. (Женщины по природе легче верят самой невероятной действительности!) Приложились каждый к плечу – для чего Александру пришлось подняться на цыпочки, а Жанно чуть пригнуться – он был высок ростом и тонок в кости – этакая жердь... а после еще поцеловали друг у друга руки, как было принято у друзей лицейских. – Покуда подавали на стол – они бродили по дому парой, взявшись за руки, как когда-то их водили гулять лицеистами, – и лицейская тропа (на которой можно было встретить

¹⁹ «Естественный враг покоя...» Строка того отрывка из канцоны XXVIII Петрарки которой Пушкин взял эпиграфом к Шестой главе «Онегина». Но эту строку как раз он выпустил. (Приводится В. Набоковым.)

²⁰ Что значит также – «про Пущина».

и самого государя и в ответ на поклон получить дружеский кивок), вновь открывалась им – *царскосельским веселым грешником...* В Лицее их дортуары помещались рядом – в одной комнате: номер 13, номер 14 – разделенные по окну тонкой перегородкой не до потолка – так что можно было переговариваться до утра... (и о чем они только – не наговорились тогда!)

Сладкоголосая птица-юность слаще всего поет к старости. Когда воспоминания доходят к нам как бы сквозь флер тоски по самим себе, какими мы были. Оттого и картины, что рисуются тридцать и более лет спустя в наших воспоминаниях – невольно обнимают собой не только конкретный миг – но всю остатную жизнь, прожитую нами – с ее страданиями и мифами, а события добредают к потомкам, невольно отуманены поздними смыслами. Оттого все было не совсем так, как Жанно (Пушину) мыслилось впоследствии.*

Когда отошли немного от первой радости встречи, и угнездились за столом, и подняли бокалы – а Арина выставила на стол все, чем можно было попотчевать гостя, и тот единым взглядом тотчас оценил бедность выбора блюд, как прежде оценил убожество обстановки – Александр сказал, с комическим жестом – будто сдернув шляпу с головы: – Перед вами трижды обосранный Пушкин!

Он, в сущности, готов был поведать все – то был первый друг, который навестил его в этом изгнание, и первый человек, кому он доверял, как себе – ни на юге, ни здесь друзей такой пробы у него не было, – но Пушкин пресек, верно, нечаянно, его откровенности...

– А-а... ты про Воронцова? Все это скоро кончится, уверяю тебя! Не может не кончиться!..

– Что ты хочешь сказать? – и что должно кончиться?..

– Все! – бросил Пушкин вполне уверенно. Но потом стал объяснять, словно спохватившись: – Общественное мнение для тебя существует и хорошо мстит – как сказал Дельвиг. Да он, как будто, и писал к тебе в этом смысле – ты получил? Все клянут за тебя Воронцова – слышал сам, хоть был в Питере почти наездом. Да и в Москве – много *шуму* по этому поводу. Его реноме аглицкого лорда и либералиста сильно пострадало. Уже не та у нас Россия – чтоб им так просто обходились такие вещи!

– А что в ней изменилось? – спросил Александр мрачно.

– Как? В ней народилось *общество*!

И Александр почему-то примолк в своих откровенностях: возникла вдруг стенка – не в пример толще лицейской перегородки... – Они после поймут – что только дураки не меняются – а они не видались около шести лет...

Разговор незаметно перетек на потоп, как все без исключения звали петербургское наводнение.

Александр улыбнулся. – Это, кажется – у Шамфора?.. «Бог, может, и наслал бы на нас второй потоп – если б видел хоть какую пользу от первого!»

– Не смейся, – сказал Пушкин, – это было ужасно! – Он сам не был при событии, ему рассказывали – но теперь он решительно передавал слышанное, как очевидец...

– Все подвалы затоплены... А там, как тебе известно, склады большей части лавок. И все это плыло, всплывало, набухало, тонуло... На Васильевском люди стояли на крышах. Неслись крики из воды... Иные бедственники висели на деревьях, где можно было еще укрыться от бури. В самый патетический момент государь вышел на балкон с группой офицеров и, скрестив руки на груди, как под Австерлицем, молча взирал на поражение свое. На его глазах тонула его столица. Может, то был единственный миг, когда он снова был близок к своему несчастному народу!

– Но это ты – что-то слишком романтическое! – сказал изгнанник-Александр.

– Чистая правда, клянусь! Из окружавших государя один генерал с балкону сбежал вниз, прыгнул в лодку и исчез в волнах. Говорили, он поплыл к северной оконечности Васильевского – где гибло особенно много, и до утра о нем не было слышно. Это был генерал-адъютант

Бенкендорф. Граф Милорадович тоже мотался, как шальной, в своей карете на высоких рессорах – у него одного в Петербурге такая – и тоже, вроде, спас многих. Нелегко быть генерал-губернатором града Китежа! До самого ледостава трупы выбрасывало на берег... особенно на островах. – Теперь их просто находят вмёрзшими в лед. А по реке плыли утлые домишки, откуда-то с Голодая... С домашней утварью – только без обитателей. Некоторые так и торчат по сей день во льдах!..

– Я велел брату Льву помочь какому-нибудь несчастному из денег за стихи. Только без шума. Незабавно стоять в списке жертвователей рядом с каким-нибудь идиллическим коллежским асессором Панаевым! – пробормотал Александр, потупясь (на самом деле он вспомнил свою шутку из письма «*Вот, наконец, случай вашим дамам подмыться!*» – и устыдился: домишки с Голодая во льдах, без хозяев – поразили его воображение).

– Но ты перешел из гвардии в надворные судьи! – сказал он, переводя разговор. – Я горжусь тобой! Это – поступок!

– Да что там! – усмехнулся Жанно. – Недавно на бале танцую с дочкой генерал-губернатора... И князь Юсупов – из московских тузов – ну, слышал, конечно! – спрашивает кого-то из старух... – Кто это с дочерью князя Голицына? – А ему отвечают: «Надворный судья такой-то». – Как? С дочерью генерал-губернатора – танцует надворный судья?.. – Смех и грех! Он был шокирован! – и в тоне звучало удовлетворенье.

Посмеялись. – Славно! Я горжусь тобой! Чего нам не хватает, в сущности? То есть России? Честной полиции и честных судей. Остальное приложится!

– Нам много чего не хватает! – сказал Пущин чуть наставительно. – Они еще поговорили немного о переменах в его жизни и вновь осушили бокалы.

– Итак... ты здесь один? только с Ариной?

– Да. Я мог бы, конечно, попросить остаться сестру, и она б, верно, согласилась. Хоть батюшка и опасался б дурного влияния на нее непутевого сына. – Он улыбнулся. – Но с чего это ради ей сохнуть здесь со мной – целую зиму? В деревне? (– 27 есть 27! – добавил он про себя.)

– Я понимаю.

– Но у меня чудные соседки – в ближнем имении.

– Я слышал. Там тебя любят. Старая хозяйка писала даже о тебе к Жуковскому.

– Вот как? Интересно. И что ж она писала?

– Когда у тебя что-то стряслось. Какое-то письмо к губернатору... Было такое?

– А кто сказал тебе?

– Дельвиг, по-моему... А что, нельзя?

– Да нет. Тебе – можно! Вот Русь! Нет тайн – есть только секреты. Временные... К Жуковскому? Они ж не знакомы!

– Она просто беспокоилась о тебе, так я понимаю.

– Наверное. Да я и никого не виню. Хочешь, съездим туда? Там премилые девушки. Не собрался жениться?

– Нет. Пока нет. А ты?..

– Тоже нет. Поедем?

– Не стоит, – сказал Жанно, – хотел бы, да нет времени.

– Так ты ненадолго? – вряд ли стоит говорить, какое разочарование в словах прозвучало.

– Завтра утром надо бы, не позже утра! Куча дел в Москве!..

– Уже завтра?.. – Александр хотел спросить – что за дела. Но почему-то не спросил.

– Ты еще не объяснил мне – что стряслось – там, на юге? А то – одни слухи.

Александр пробормотал что-то о *ревности* Воронцова, о распечатанном на почте письме – стена, стена! Но сквозь перегородку был куда откровенней:

– *Мне изменила любовь и меня предал друг. Страшнее всего!*

Жанно почувствовал – что-то не так, есть зона молчания...

- Ну, не хочешь – не говори, может, тебе некстати!..
- Я привез тебе подарок! – сказал он словно в успокоение и полез в свой портсак.
- А что это? – спросил Александр.
- Знамение времени! – прозвучало несколько торжественно.
- О-о! И какие знаменья – у нашего гнусного времени?
- «Горе от ума». Комедия Грибоедова!
- Постой! Это не та, что он написал на Чадаева?

– Да, при чем тут Чадаев! Сплетни! Все вышло из-за фамилии героя: Чадский. Автор исправил уже – на «Чацкий» – чтоб и не снилось. Не напечатана, разумеется, – и где там? – при нашей цензуре!.. в альманахе Булгарина должны явиться отрывки. Но ходит по рукам в списках – и, притом, тиражами, каких не видать нашим бедным издателям. Офицеры в казармах собираются группами и переписывают под диктовку. – Это тебе – вместо пьянки и карт! Ничего подобного на Руси еще не было...

– Вместо пьянки и карт? – едва не вырвалось грустное. Где-то была жизнь. Где-то собирались офицеры и переписывали от руки чью-то пиесу. Он и сам привык некогда, что его переписывают, ну... десяток экземпляров... ну, два... В душе что-то смолкло. Он был смятен и несчастлив.

- Мы с ним были знакомы, – добавил он вяло. – Видел несколько раз...
- Кого? Грибоедова?..

Александр кивнул: – Мгу. Вместе в семнадцатом представлялись по Коллегии иностранных дел. Он там, кажется, преуспел. Я – нет! – он улыбнулся жалобно.

– Ничего он не преуспел! Торчит себе при Ермолове, на Кавказе. На задних ролях... И разве у нас талантливый человек может преуспеть?

– Он показался мне самоуверен. Может, от возрасту. Он старше нас!.. (И после договорил.) Я видел когда-то, еще в Петербурге, до отъезда две его безделки на театре. Или в которых он брал участие. Мне показалось – слабо. Не лучше Шаховского.

Он завидовал. Может, впервые в жизни. Не чьему-то успеху – нет, это он не умел – но чьей-то свободе.

- Оставь мне – я прочту!..

– Не проси, не смогу, – один экземпляр! Мне дали в Москве. Потом, говорят, в Петербурге у автора есть еще вариант. Новый. Еще более смелый в гражданском смысле...

– А у вас теперь как ценят литературу? По смелости? в гражданском смысле? Это интересно!

- Не придирайся!

– Нет, в самом деле! Недавно прочитал... пишут в газете, что в стихах – стихи не самое главное. А что главное? Проза?.. Се есть ересь, учти!

- Согласен, согласен, – улыбнулся Жанно. – Давай прочтем вместе – хочешь, а?..

(Лучше попросил бы сперва прочесть ему новые стихи!)

- Давай! – кивнул Александр с неохотой. – Ты будешь читать?

– Нет, лучше ты! – Я плохо зрю чужой почерк. *(И зачем надо тратить время свидания – на чью-то длинную – и, верно, скучную – пьесу? – Но стена – стеной, а перегородка – перегородкой.)*

Сперва он слушал рассеянно. В одно ухо... В пьесе была девушка – София, которая любила некоего Молчалина. (Фамилия Александру не понравилась. Как-то очень в лоб...) И до утра просиживала с ним в своей комнате – под флейту и фортепьяно. Что, право, неприлично. Впрочем, автор явно зачем-то шел на это...

– Ну, тут не самое важное! – бросил Жанно после двух-трех первых явлений пьесы – словно торопясь к чему-то главному. Читал он, что называется, с выражением.

- Почему неважное? Завязка! – поправил Александр тоном профессионала.

«Имея опыт вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Марией Николаевной Раевской...» В октябре ему неожиданно пришло письмо от генерала Волконского – Сергея – из Петербурга. Тот сообщал о своей женитьбе – для которой на дни собирался отбыть в Киев.²¹ (*И что ему вздумалось извещать его?*) Они были знакомы с князем по Каменке – хорошо, но некоротко...

«Не буду вам говорить о моем счастье, будущая жена моя вам известна...»

– Да, известна, известна!

В декабре, когда страсти по Люстдорфу чуть улеглись – он вернулся к письму и загрустил. *Какая у них разница лет? Лет двадцать примерно!..*

С появлением Чацкого в пьесе голос Пушкина возвысился. В нем зазвенел металл.

– Чуть тише! – попросил Александр.

Пушкин попробовал – но, прочтя полстраницы вновь принялся декламировать. Однако... диалог, и впрямь, был блестящ! право, блестящ! *На Руси еще такого не было!*

«Надеюсь прежде ноября пред алтарем совершить свою свадьбу.» Теперь уж, верно, все свершилось! Генерал писал «алтарь» через «о» – но это ничего не меняло! *«Рара захочет выдать меня за какого-нибудь старого толстого генерала...»* Хорошо – хоть не толстый!..

На монологи Чацкого – чтец напирал в особенности...

*А судьбы кто? – За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма...*

Александр поморщился. С некоторых пор все риторическое его раздражало. И даже в самом себе – он пытался избегать. (Он взрослел.) В раздумье он по обыкновению начал тихонько постукивать ногтем по столу – двумя ногтями, перебирая...

– Ты можешь не стучать?

– Прости!

Чацкий чем-то начинал походить на Ленского. И это тоже раздражало.

Нельзя ничего нового сказать на свете! Все уже сказано. Кто это рек? «Хорошо еще, что не обо всем подумано!..»

Как дошли до падения Молчалина с лошади, обморока Софьи и сцены после обморока, вновь стало интересно. Пушкин подавал эти места не с тем тщанием – и опять, словно торопясь. Пьесе это как раз шло.

Неужто она, и впрямь – любит Молчалина?.. Впрочем... В жизни все бывает! Скажем ясней – именно это и бывает в жизни. – Он затосковал... Зачем это все? Чужая любовь, чужая пьеса?.. Татьяна вышла замуж. Сюжет обрывается... Хотелось рассказать другу про письмо Волконского!.. – Понимаешь! Та женщина... была подарком судьбы! – но мигом... Несбыточным! Белая Церковь, наследница Браницких... уйти за мной? – в эту стылую жизнь? (Он мысленно жестом очертил все вокруг.) А тут... впервые уходила та, что могла стать его женщиной! Девочка! От которой отмахнулся так легко! – Пчелка, мелькнувшая мимо отверстых глаз – но устремленных куда-то помимо. – Но стена стеной – а перегородка – перегородкой! Друг, все больше входя в раж, вколачивал в него пьесу «Чацкий».

– Может, ты считаешь? – предложил Жанно, поняв, что другу опять стало скучно.

– Ну, может... – согласился Александр.

²¹ От 18 октября 1824 г., Петербург.

Читал он иначе – больше оттеняя стихи... Так выходило явно лучше. Длилось это недолго – он быстро вернул рукопись.

– Нет, лучше все-таки ты! – и не только потому, что трудно давался чужой почерк (не пушкинский – сразу видно), но много грамматических ошибок: это резало глаз.

А пьеса хороша! Какой диалог!.. А меня будут уверять после этого – что Озеров у нас – великий драматург!.. И Вяземский – туда же! Ничего не смыслят в пьесах! Диалог, черт возьми! Где берут такой? На Кавказе у Ермолова?.. Он был смятен. Его всегда повергало в прах искусство.

После второго акта сделали перерыв. Подняли бокалы...

– Ну как? – не удержался Пушкин. Он гордился – будто своим собственным детищем.

– А тебе не терпится! погоди – почти до конца!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.